



Георгий **ОБОЛАДУЕВ**
СТИХОТВОРЕНИЯ 20-х ГОДОВ

Георгий **ОБОЛАДУЕВ**
СТИХОТВОРЕНИЯ 20-х ГОДОВ



Георгий ОБОЛДУЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ
20-х ГОДОВ



ББК 84 Р 7
О21

Составление

А. Д. Благинин

Подготовка текста и комментарии

И. А. Ахметьев

Оформление и макет

А. М. Дмитриев, В. Е. Николаевский, М. Н. Ярышев

ISBN 978-5-98-181-052-7

© Г. Н. Оболдуев, наследники, 2009
© А. Д. Благинин. Составление, 2009
© И. А. Ахметьев. Комментарии, 2009
© ООО «Виртуальная галерея».
Оформление, 2009

В книге Георгия Оболдуева «Стихотворения. Поэма», выпущенной издательством «Виртуальная галерея» (М., 2006. – 608 с.; далее – *СП*), были почти полностью опубликованы три из четырёх переписанных поэтом набело рукописных сборников, сохраненных Еленой Александровной Благининой и недавно переданных её племянником, Александром Дмитриевичем Благининым, в Орловский государственный литературный музей им. И.С.Тургенева. Эти сборники, или тетради (в дальнейшем – *Тетради 1, 2, 3, 4*), собственноручно составленные поэтом, во многом предопределили подход к публикации его наследия.

Произведения, вошедшие в *СП*, в большинстве своём были опубликованы ранее (*Устойчивое неравновесие: Стихи 1923 – 1949 / Сост. А.Н.Терезин [Г.Н.Айги]. – Мюнхен, 1979. – 174 с.; Устойчивое неравновесие: Стихи / Сост. А.Д.Благинин. – М.: Советский писатель, 1991. – 320 с.*), но оба издания давно стали библиографической редкостью. Кроме того, на 30–40-е годы приходится пик творчества Георгия Оболдуева, а *Тетрадь 3*, в которую включены произведения, написанные с 1927 по 1950 год, имеет все признаки авторского избранного. Возможность осуществить публикацию наиболее значительной части творческого наследия поэта, выверенной по его рукописям, представлялась нам первоочередной задачей. Включение в книгу поэмы «Я видел», несомненно задуманной автором как главное произведение всей жизни, подчеркивало итоговый характер издания.

Основой новой книги, продолжающей публикацию поэтического наследия Георгия Оболдуева, стала авторская рукописная тетрадь (*Тетрадь 1*), в которой собраны стихотворения 20-х годов. Произведения, созданные в этот период, имеют отчётливо выраженный новаторский, экспериментальный характер.

Знакомство с ними позволит читателю полнее оценить масштаб дарования одного из самых интересных русских поэтов первой половины XX века.

В отдельный раздел вынесены стихотворения разных лет, не вошедшие в основной корпус (т.е. *Тетради 1–3*). Среди них – стихотворение «Повенецкий совхоз», написанное в ссылке и предназначавшееся для публикации в изданиях Белморстроя.

Значительную часть издания составляют *Приложения*. Помимо статьи Г. Оболдуева об А.С. Пушкине, опубликованной в 1937 году в журнале «Под знаменем Белморстроя» под псевдонимом Ю. Созм, в *Приложениях* публикуются воспоминания литературоведа Николая Николаевича Яновского, вместе с Г. Оболдуевым отбывавшего ссылку в Карелии, и воспоминания жены поэта – Елены Александровны Благиной.

Поскольку опубликованная в *СП* обстоятельная статья Владимира Глоцера «Поэт Георгий Оболдуев» была задумана как вступление к двухтомнику поэта, в который должны были войти и произведения 20-х годов, а также учитывая публикацию в настоящем издании мемуаров Н.Н. Яновского и Е.А. Благиной, издатели сочли возможным не включать в книгу отдельной вступительной статьи о творчестве поэта.

Издатели выражают признательность Владимиру Иосифовичу Глоцеру за бескорыстную помощь, оказанную при подготовке данной книги.

I

НОЧЬ

О, скушно как!
О, ночь!
В полутора
шагах – ни зги.
– И жизнь висит
на волоске,
как утро хутора,
как лай,
что на ветру осип.

Спи ночь
в перинах атмосферных,
над милой бездной
нагороженных;
ночь,
спи
принцессой на горошине
земли.

Стадами звёзд
глаза полней,
чем заливных стад
пятна
с фермы
подзорной
незаметней, –
– за полночь.

Проржавеют поля: –
– не смыть!
Переглянуться с ветром: –
– можно!
Только луна
в руках весны
обманет
подписью
подложной.

XI. 1923

ЛИВЕНЬ

Раскалённый оранжев
воздух.
Набекрень.
Горделиво
перехлёстывается.
Раньше
чем
влажными птиц разливами,
раньше
чем тучный ветер
– заговором на горизонт –
полуденный униссон
жарой,
точно штопор ввертит.

Ветер выдернет
прокипевшую
птичку
на ожиданье влаги,
ветер с лентой потянется
в тех же
лесах
ключевыми углами,
где до той поры
в стройном
паре
пересыхали мхи,
где бились
шишек обоймы
в сосен
ежовые комки.

Свеяна
зняя патока
чуть не от неба
до песка.
С тучей в обнимку,
туго натуго,
– как бы воду
не расплескать, –
затягивается ливень из лесу,
тянется
песней дождевой,
смеётся,
что полдень
снизился
под тучами.

Отчего б
полшайкой
– тёплым пожаром –
не поддать пару
со смехом,
лес ливнем намылив:
– «эхма!» –
выпроваживая поджарый
день,
коли по колеям,
по выбоинам
до краёв полные
блюдца,
почти нечаянно выдоенным,
внезапным дождём
нальются.

XI. 1923

О ТУРКЕСТАНЕ

От песков твоих
по крестам
диких птиц
в небе
хищном;
от ветренных гор
по нищим
степям в объятьях,
о, Туркестан,
вычурным почерком
ты
вписан
в память мне,
соком стенограмм
иностранных:
ветер,
виноград,
виноград на песке кумысном.

Туч мохнатых курдюки
кисли вдалеке.

«Не выдам»,
лепетала речка рыбам,
засыхая:

В утюги
забирало речку с видом.
Солнце к полдню саксаул
подмороживало жаром;
усыпляло, как сову,
воздух ослеплённый; даром
высыпáлось в корки гор;
словом, – билось на рекорд.

От песков твоих
по крестам
птиц в небе –
– о, Туркестан!

Звёзды под вечер внезапный
разбегались по садам.
Вечер ветерком мускатным
по тропинкам оседал.
Опадала темень с фруктов
сном пахучим. Ночь ничком
мяла травы, точно конь.
В небо заползал инструктор
месяц. Капали ручьи.

Будто ливень ночью выжат,
будто ветер влагой дышит
под наплывом Сыр-Дарьи.

От ночей твоих гор.
К устам
тихих женщин. –
– О,
Туркестан.

XI. 1923

* * *

Я бродил
по долинам Альп
глазами
чужими, как пасынок.
Я на горы
лифтом забегал,
ртутью бредовой –
– за́ сорок.

Ртутью,
как зверёк,
как лживые
глаза
забегал вперёд,
зная,
что стоном иволги,
как детство,
тебя
сберёг.

А ты,
ничего не понимая,
удивлялась, наверно,
что всё-таки
сны мои задушевно больные
пробуждались в твоей крови.

XI. 1923

ОБ ОРЕНБУРГЕ 1919 ГОДА

Морозу ночи узки:
жмут.
Ветер льдом виски
сквозь зубы цедит,
как скиф
скулы глазами.

О, друг!
Небеса пьют, пьют
затопленный морем бурк,
захватанный морем вьюг,
на́ ночь кобурой к ремню
поскрипывающий Оренбург.

Тонким стуком трупов –
– тех, у вокзала,
на мороз костей –
– тех, из теплушек –
– паровозный, в рупор
дым широк, как степь.

Пар на кипяtilьник!
Сны кондукторов:
от замёрзших, пыльных,
вымерших дорог
тифом вшей нательных,
гнилью белых гнид
сыплет некий мельник
годы в дни.

Пар на кипяtilьник (!)
– на ночь тело зги –
память замогильных:

где башкой качает
боевой Чапаев,
где плывут на сгиб
горизонта, за́ лес
мёртвые мозги
ядер, где, – анализ
ночи, – Оренбург
оттепелью крови
плачет, горем бур.

Ох, с какой любовью высох
на своих пригорках лысых,
замыслы степей расстроя,
пьяный ветром Оренбург.

XII. 1923

Ночь.
Разглагольствовал
месяц.
Он погибал –
– по надменности польского
акцента –
– по губам.
Широк,
как тайна
на́ ухо, –
– пароль
шпики,
– бас октавный, –
плёс ночи.

Порой
щёлка соловьёв.
Слушаючи.
Целуя.
Ночь на ушко.
Порой ночь
– старушечий
ридикюль средь шажков, –
подробно,
всеми силами
теряя значенье,
о,
снами выломив
себя,
с моих очей не
спускала любви.
Опять.
Повторной.

Даря воздух горный.
До задыханья обвив.

XII. 1923

* * *

Когда буколически
лакается флейтой
– оттепелью клейкой –
снег,
когда в количестве
тепла глаз её,
которым понадобилась
мгла ласковая, –
– ты: –
– ни на́ волос
о ней не застится
мысль:
за сердце
падает.
Падаешь.
Манит каждая
ночь;
– опрометь их.

Помнишь?
Экой дьявольской
нежностью
потягивался
тот же, –
– о, –
– примитив.

XII. 1923

Думал ты:
«моя нега!»
Уверял.
Разуверивал.
– Дерево!
Разве можно эдак?

Поневоле занежится
котенком,
– всей утробой – ,
прикинется нежитью,
недотрогой.

Ведь ты,
поглядывая
на такие дела,
не тряхнёшь:
«ля, ля!
А, ну, к ляду её!»

Наоборот, чай:
расстроишься?
– Ох, мясо с кровью! –
С бреднями её,
с её именем
до крика, до свиста,
готовый
минимум
на самоубийство.

XII. 1923

* * *

Утро цепное
с голоса,
утрированно нежно,
спросонья
целовало волосы
жвачных, бизоньих,
полевых проборов.

На выгон
рассветный – стаями
птицы.

Свист.

Спаяны
день с ночью.

Выдан
первый приз
за ночную красу
саду-соседу,
абсурд!,
шапке с луной –
– султаном,
целую ночь
отсюда
помавающему свечами
каштановыми.

XII. 1923

Высоких птиц
гвалт
к волосатому поту
леса,
 вниз,
 наповал,
– на откровенный отдых:
в белочьих тропиках
сухих тропинок;
у земляного гробика
грибом пропитанного;
среди маринада мхов,
вбегающих в ельник;
около, смертельно
уставших,
в сосен хор
уставившихся,
ушей
двух,
двух глаз.

Гомон
непрекращаемый.
Уже
птицы с незнакомым
свели счёты.
Заливаются.
Ищут: где бы,
над чем бы поинтересней
поверещать?

А ему
тонкие руки неба
такой песней
давят горло!..

XII. 1923

* * *

С опушки сада
вид на землю,
зашнурованную в поля,
выплеснут в лицо мне,
как оскорбленье.

Гребни выпуклых пашен
играют каждым
мускулом.

Мне славно,
что оскорбленье
наносится здесь по человечески.

XII. 1923

* * *

А уши
лесом заложило.

О, поэзия,
стон милый,
прохладным ручьём
промытый;
облаков
горная чесуча.

На блюдца долин не свести
– без задоринки,
без сучка –
забытые там глаза –
– стихи,
поэмы
пойманные,
заворочавшиеся жерновами,
– оэ! –
– толпой мамонтов. –
Оэ!

А глаза
небом завалило.

Из памяти:
милая
вырывается
сталью горленки
по тополям, липам,
по снегам лунным,
по всхлипам
осенним –
– без сучка, без задоринки.

А руки
любовью заломило.

Поэзия,
ловящая вихрь устами,
О,
поэзия,
очный
хрусталик,
заочный деспот
набухающих почек.

Тесто –
– через край.
Детским
чмоканьем мячика
пыхающий дождевик,
набирающий дым
неоднократно.

XII. 1923

Забывая свой голос,
движенья свои, —
о неприменимом голосе её,
о кусочках движений её
непрестанно думая, —
— весь этот твой штиль
нелепо отдан
ей: —
— жди
у́ моря
погоды.

Палёная луна
— шаль палевая —
шёлковым ворсом
мороза
подирает по коже
неба,
дыханья.

А голос тот,
ту теплоту
можно бы
— в голос! —
младенцем наисчастливейшим
укачать.

Спит сон:
мороз на суку.
Трескуч
он,
он холост,
как заряд пугача.

XII. 1923

Схлынет ночь
задыхающимся сеном,
каплями звёзд,
пенной
туч у рта.

Зевок заката
затянется
в слипающиеся глаза,
в петушинные утра.

За́ голову локоть –
– в омут – :
только бы
кровью похлопать
– поаплодировать –
финалу ночному.

Облаку
– (в омуте) – ,
увлекшемуся игрой
завязшему по́ локоть
в рассвете,
– рассветом
расцарапанному в кровь, –
– привет приветов!

А если в ситце
спозаранок деревенских
птицы
молчат? –
– птицам
моё презренье
на высоте свиста
губ бандитских.

XII. 1923

* * *

Сочные
звёзды
заливных лугов
ночного неба,
точно
свежей дугой
согнуты
у самого снега
по самый воздух.

Бриллиантовые застёжки
по снегу мечутся
рысцей,
стягивают уздечкой
мороза
лицо.

Что ж ты
бежишь?
Лицемер,
отмороженный кочан!

По сходной цене
забирай звёзды.
— К очам,
к лицу они ей,
миленькой твоей.

1. 1924

Снегом засыпанные
седые ветви
сквозь обледенелые
усы
цедили ветер.

Полозья зимы пели,
заиндевели
в деревьях, в кустах: —
— вынь-де им
да в уста
положь
незабвенную,
зелёную дрожь.
Помнят-де они,
как летал здесь
тополиный пух;
помнят,
как глотался
весны кремовый пуфф;
помнят,
как сквозь пальцы
тонкой листвы
подглядывали на детишек
облаков притихших
пласты.

А ты,
моя бесценная,
хуже деревянного сада:
помнишь не помнишь —
— любишь не любишь.

И. 1924

Под самым сердцем
весна.
Колышется.
Доплывает.
Накидывается на плечи.
И радуется
до конца глаз, рук, ног.
Взглядов.
Мыслей.
– До боли.

Задушевно.
В садах,
пристѣгнутых натемно
ветром к почве,
воздуха жемчуг,
оживший
на тёплой коже весны.
Тут.
Выше. И ещё выше.
Ах да (! –):
тут ночь ведь
и –
– обаятельна
и –
потягивается
морозцем ватным.

Что?
Чепуха!
Весна всё равно
так громадна,
суха;

так выпирает
ароматом
сукна
с улицы;
и;
и;
так
уж
на́ сторону
сворочены
холодные, молодые–и
морды
кислых
луж;
так
уж
пора ей
(весне-то!)
с неба
на́ землю, на́ люди; –
– что холод (?):
да даже в мыслях
– («На́ гляди!
Хочешь дыхну?») –
– ни, ни!

Короче:
ну, весну любишь?

(Гордо):
«очень».

I. 1924

Запросто,
 коротко
 охватывает
 с паруса
 моря,
 с пристани
 леса, который
 цветиками обут,
 пристально,
 на ходу,
 у вóрота
 расстёгивая дыханье
 на́ ветер
 спешащий, матовый,
 трепещущий.

... – «Да-а, знаете,
 есть вещи ещё!..» –
 Обращаясь, будто с воротничком
 привычного номера,
 восхитительно похлопывая по плечу
 любых лет – бездной, –
 тащит чуть
 не по́ миру
 всему,
 как по уезду,
 волости,
 болоту, –
 ознакомив
 с жутким тембром
 остановившегося голоса (;)
 и – в паузе: –
 жужжаньем насекомых,

прысканьем рыб,
загаром леса.

Тем бы,
кажись и кончать:
даже не без
приятности?

Ан, нет: –
летит, как с небес:
– загляденье
невинное, голубое; –
а на самом деле
сочней чем Анчар.

По всей вероятности,
это –
– любовь. –

I. 1924

Зимний этот мир
крохотен.
Смотри(:).
Уютны
в потухшем грохоте
шлюпки бледных
глыбок
от беспутного
ветра в парке:
струи – ленты –
– бархат
инея.

Либо.
Ворчливое отвиливаньё
псов добрейших.
Усы – бусы
на мороз:
каждый брешет
на укусы
двадцатиградусных
комаров.

Или
радостных
скоморохов
метели –
– сибирских каторжан –
– купцов
посмеиванье:
– «мол, снег
вздорожал».

И
раскатистый
смех
— тайгой в лицо.

А ещё:
аистом
ночь поджав,
промороженное утро
— голос картав,
сил,
заспан, —
наспех
лезет в куртку;
что есть сил
перегибается в день
через перила
толстой перины
сугробов.

Милый!
Гляди в оба.
Где?
Где здесь мир
астрономийных мер?
Потонул в уюте:
— щенок, кутька,
пузом вверх!

И. 1924

Изумительно хорошо
с мертвецки знакомой женщиной
вести нижеследующие
дебаты (:).

Лето ещё.
Озёра горбатые
небо дразнят.
Птицами вызвездил
воздух
и без того
полный разных
милых вещей.

Своры полевых ищек –
ветерки в кепках-
невидимках,
в негашёной
извести
до того крепких
лесных мхов, смол,
чуть не сушёных
грибов
перехватывают
шифрованное письмо
предыдущей,
чёрной, как смоль,
ночи.

Через вату
дня
процеженный
набор

засыпан подо мхи: –
– динамит! –
разбросан по корням: –
– беженец,
ароматный провинциал, миф!

И вот этот-то, этот мир
– напыщенный ветром тмин –
лопочет,
лепечет.
От лопающихся почек.
От потрескивающих печек.

Так, до скончанья
лампы
века,
тихо качают
лапы
веток
по́ небу
меня
и
– чуть не в обмороке –
милую женщину.

1. 1924

Так прекрасна,
божемой,
чудесна
жизнь.

Кожаный
ветр песен
ожил.

С ногами
снегами на́ снег
– из огня да в по́лымя, –
– сталь до́ красна
голыми
руками: –
– зима.

О, пропеллер
образный,
жадный, волшебный,
сводящий параллели
с математического ума,
чем бы
(в корне –
– безумно)
уймы
уйм
дребедени перемалывать (?): –
опрометью бы в штурм
и,
стало быть,
к форме
ум.

Ведь эдак вот
поэт оборотень
редкого
темперамента
заманчиво,
памятно,
из дебрей,
от мамонтов
огород городя,
заканчивал
прожиток –
– в шедевре.

I. 1924

Над мертвечиной,
покоем,
уютом двух пропастей,
за далями полевых схем
будто бы и ты
моя прошедшая любовница.
(Любишь ещё?)
Не волнуйся:
ни коим
образом
за отдалённостью
не съем.

Меж трупов камня,
изуродованных
моими дядями;
где тянется оладьями
четвёртый этаж;
отсюда ходьбы
минут десять –
– очень другая.
Двухлетний стаж
нашей суеты
в моей забывчивости
по воле судьбы
второй месяц.

Добрый вечер,
подрисовывающий
память об обеих,
скулит, слабея
от ламп:
– обе вы ещё

щенки, хлам,
пни,
по сравненью с ним,
с моим другом дорогим,
албанцем – поганцем.

I. 1924

Верь не верь: –
а как почайпивши,
– «спать пора» –
чуешь: твой тёзка,
вышедший из берегов
отцовского
паспорта,
благим матом,
наперебой
глаза застит.

Тонешь?

– Исходя из того «но»,
что это было, ой, как, давно: –

– «Эх, аспид.
Руки тебе не подам:
тони на здоровье.
Кабан.
Сердце коровье!» –

Враньё:
сердце моё!

I. 1924

* * *

В гробу
величав
труп
Ильича.

Взвыла тихохонько
труба
над чистым, как сотая проба,
содержимым гроба.

Ручей толпы обмерзал,
окунаясь в горный Нарзан
величия места,
доведенного до чистоты высот
потрескивающими озонаторами.

В гробовые,
заострившиеся уши
безмолвных толп
бился глуше
чем деревянный болт
трагический шопот
маленького барабана:
до последних рядов мира
он долетал, доштопывая
сеть славы.

А противный проныра,
похотливо прищёлкывая,
судорожно фотографировал
убегающие, шёлковые
мгновения,
наполненные воздухом горным,

трупом гордым:
вон там
на улицах,
выступивших из тротуаров,
в змеином месиве,
в морозе лютом,
О,
 мертвый человек,
morituri te salutant.

I. 1924

Нечаянные тучи
в белых фартуках,
рядом бегущих,
проливней.

Чаянные ночи,
так таки
и не смыкающиеся,
как на месяце
чешуйки кровельных
черепиц,
в грешных
глазах-черешнях,
задувающихся желаньем
под навесцами
ветерка.

Заплетённые –
– (до колен – до пят!) –
реки
юга России.

Неба
деревенские прорехи.

Перебитое
звонкое нёбо
жары,
где красивей
чем в стихах налит
аллитерированный на «р» и на «л»
фольклор жаворонков.

Да перхотью
своры мазанок,
да горы деталей,
здесь неназванных (.): —
— создают то,
что, как потянешь носом
в память,
так бы, кажется, всё
вышепоименованное
взять и сшамать.

И я зализываю культуру,
как медь.
И весьма определённый покой
каждодневного быта
колдует
шито-крыто
захолустьем во мне.

И. 1924

Споёмся, друг.
Бывало:
и под Репина
мы певали,
ведя довольно бестрепетно,
в размах
подпись своих жизней бодрых,
просматривая
чужих жизней автографы.
... – «Занятный почерк!» – ...

А нехорошо:
ну́, как
то та, то эта буква,
вдаваясь в подробность,
корчась,
бросит по́д нос
сильный цветок,
сильный аромат,
оказавшись придуманной,
как пыльная бахрома
были –
– на святом.

И то:
подумать –
– мы квиты.
Ты, мо́жет быть,
вспомнишь тот же
свиток:
– гортанным:
«чур-чура»,
– тончайшим-наиточнейшим:

«позапозавчера»,
– кухонным:
«в^ини-козыри»,
– поднебесным
ауканьем-уханьем
на озере:
к в тлам, в слам,
плескам
на страх взрослым.

Подразумевается
самó собой,
что именно таким
способом
пожизненный,
послужной папирус
каждого художника
вырос.
И растёт.

II. 1924

Керосиновые глаза
зимнего вечера,
показалось,
остановились на мне
тупо,
спросонья-спьяну.

Досадней
было то,
что я был трезв,
целуя
прямо на снегу
какую-то панночку.

И после
ох, как тягуче,
– тянучка в гнилых зубах –
белёсовала
снежная заутреня,
голосуя
за меня,
обдавая морозом,
острым запахом керосина,
саблями сельдей
всё на свете.

И был же низмен
вечерок жизни
в зимнем
отточенном механизме
города.

16. II. 1924

Широким водоворотом
галок
небо разболтано,
как суп
в полной до краёв кастрюле,
кипящий
тяжёлыми зигзагами,
глубоким
– меж круп –
ходом мутовки.

И после:
трауром засыпанное небо
в свежайшей какофонии
свадебного карнавала
птиц
на фоне
хладнокровного зимнего заката
среди бела дня.

И после:
густым слоем
осевшая по крышам,
успокоенная копоть
тех же птиц.

И после:
опять небо,
опять спиртное,
опять выпиваемое
маленькими глотка́ми
стольких глóток.

21.II. 1924

Теперь на лёгком Кавказе
пеклеванные ветви гор
покрылись жемчугом миндаля.

Теперь на южном побережье Крыма
чёткий воздух в газе
фруктового дыма
деревянными спинками мандолин
постукивает по хижинам.

Теперь по всем деревьям,
насиженным
теплотой,
вдарило тяжёлыми, лимонными раковинами
почек,
перламутровыми облаками,
наплаканными
– платочек-в-комочек –
поволокой неба.

И теперь ты
крупной каплей
росы на розмарине,
помелом пакли,
выкупанной в бензине,
размахиваешься передо мной,
как заклинанье:
«беречь от огня».

23.II. 1924

КОНЦЕРТ

Б.Л.П.

Замахивается дирижёр.
Ему забота:
он слушает и бережёт
шёлковое скрипенье скрипок
от переливистого визга флейт,
густой влаги фаготов,
трубных вскриков,
контрабасьего пота,
откупориванья литавр,
звериного движенья тромбонов.
Он сберегает скрипенье скрипок,
слегка затронув
и обметав
мозолями и ципками
непривычных усилий,
упорным ветром
взгляда палочки
загорелые
спинки инструментов,
закоренелые
русалочки
замашки музыкантов.

В лесу солируют вкрадчивые
сосны
под смычком ветра.
Утрачивая
вспоминанье о шаркающей
походке в развалку
по балкам
по бальным полянам
парка,

в светло-серых гетрах
вечернего тумана
над лакированной туфелькой
воды,
тихонько побулькивая,
ручей,
как неморгающая палочка дирижёра,
гипнотизирует, вбирает, берегает
сонные звуки,
стекающие в него исподволь,
из лесу.

О, слушай, Пастернак,
опахнувший Скрябина
веером галок над Арбатом,
раскинувший по сторонам
жаркие глаза
библейского семита.

26.II. 1924

В ласковый лак,
лад юношеской луны
пела по тракту арба на волах.
Степь? Ночь? – Хоть бы хны.

В пыльном лунном навесе
летнюю землю колесили
сангвинические поводья на месте
цыганских, слабосильных.

Конокрадской-то ночи люб
по звёзды, по ягоды
за ночи, за годы
запыхавшийся, милый люд.

И звёзды там пили-пели
по-сербски,
откидываясь пушком вербы
по сердцу:
и ты там мёд – пиво
– по губам?
И ты
серебряный серп
луны
ивой
мягкосердой
купал – покупал?

4.III. 1924

А.А.Синицыной

Она в углу локтей
беспомощно заключена.

Её крепкий рот
и бодрое,
надкушенное тенью
бедро
издали вдыхал я.

Мимо – людей шелест.

Глаза мои собачьи
непрерывным извиненьем
маячили.

Имелись
некоторые данные,
что и красotka
поглядывает.

И медленное
солнце пёрло,
попутный снег освежевав;
и перочинные лучи
мокли,
чиня меня
по-детски куцо;
и мог я
довольно долго
так простоять,
ощущая всем телом,
что и минуты
годят и мнутся
миновать.

14.III. 1924

ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ АГИТКА (под треск маленького барабана)

Надо жить чисто
любезные товарищи.
Растлитель, шпарящий
слезой фашиста,
вскипевшей
от утерянного бытка;
тайный блудень
на сэврском блюде
дворянского дрожанья;
ублюдок
в пижаме
с гербовыми метками
от носового платка
до ночной посуды; –
– все вы (с детками)
и присные вам др'ы,
будьте добры
на лёгком катере
к чортовой матери.

Заводится копчёная машинка
на цыпочках вокзальной тишины:
шикарно ждут
балакующие носильщики,
побалтывая фартуками мускулов,
шикарно ждёт
насыщенный проводами буфет;
разламывая тишь
спрессованной волной полей
– (ну, просто, Фет
в избранных стихотворениях –
– да и только) –

экспресс,
прилаженный вплотную
к секундам электрических часов,
вокзальной тишиной сглотнуло.

Довольно колбасы
ливерного благополучья:
найдётся кой-что получше!

Друг, будешь по горло сыт,
когда, яму вырыв
для православных вампиров
поставишь на рельсы
свой
быт.

19.III. 1924

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЁННЫЙ БАХУ

Там тихий Бах
машет крыльями фуг:
там ржут табуны
сквозь квадратные корни тем:
невероятно хорошенький
армянский оскал
ноздрей и губ,
как расчудеснейший флигель
в жилетном кармане
уездного городка,
разит непосредственно,
даже грубо.

Бах:
погибель мне
захлебнуться
всеми фибрами
в органном пункте.

Французский прононс
гобоя
бродит лениво
халдой курносой: –
– а посмотри в глаза
халде,
склоненной над сынком?
(пусть и незаконнорожденным)

Ластится и вьётся
гармошкой
органа вой:
– «на кого ты нас родимый», –
но спокойно

и деловито,
будто бы и не впервой,
будто бы и не теряя невинность.

Играют
сжизнесшибательные акулы;
пьёт
негодный для питья
океан
живительные стволы рек;
лудится медь культуры:
Бах течёт.

Зияющую рану
отметённого ввысь голоса
выводя из сознания
хлороформом пауз,
перевязывая
бинтами синкоп,
– Бах бодр,
как военком,
принимающий смотр.

23.III. 1924

С каждым куском,
отправляемым
машинальной рукой
в рот,
ешь меня,
милая,
– верней
мысли свои обо мне –
глубоким
– до внутренностей –
поцелуем.

Я выступлю
благодарной испариной
вспоминанья
под лёгким батистом
окружающих тебя людей.

Я прорвусь
во внезапной искренности,
в теплоте твоего тона,
в тембре голоса.

И по ногам твоим
побежит
глубокая ванна
желанья,
и ты обернёшься
медлительней.
С акцентом ночи в плечах
ты будешь плыть
вся панна,
вся павана.

25.III. 1924

МАРТАПРЕЛЬ

I

Солнцем сдельным
льётся мясной
бульон
в опавшие бельма
– грязное бельё –
снежных прогалков.

Хлещет весной
вповалку,
как из ведра.

Шелуха луковая,
скрюченная
мездра
сучьев
ещё постукивает
деревом щупалец.

Гремит вода
зздравно:
осторожно прощупывается
земная беременность.

Временно
к ушам
прижимается
странная
напоённая тишина.

II

Нечёсаная лахудра
в подоткнутой юбке
ветра
распускает тёплые кудри
влаги
с каждого сантиметра
неба.

Наподобие моей голубки
перед зеркалом
прыщет фейерверком
самых интимных
углов рта:
где-то там
над городом.

Замызганный снежок
исчезает:
– отроду
не видал этакого.
Свежо. Свежо.
Жужжит непрерывно,
величаво
бархатная, контрабасовая
октава
тубы.
Ветер подбрасывает
пенье.

Каждая ветка
кусает губы
в волненьи,
чтоб потом разрыдаться
мочками
почек,
тончайшими градациями
непромокаемой зелени;
чтоб потом небо
в лёгком парике
первой грозы
с неподражаемым весельем
скользило
по блистательному паркету
в стрелках аллей.

11.IV. 1924 – 21.XI. 1953

Привелось как-то
рраз:
разул
глаза:
ломкая до слёз
иллюзорная лазурь
весеннего дня –
– (одного из первых)
несусветный пунктир
звёзд
и, вытекающий отсюда
взгляд присноблаженный
на весь мир.

Полезли мысли
добрые и ровные –
– в три обхвата:
не мысли, а перлы;
совершенно исчезло
естественное желанье
скрывать брёвна
в своём глазу.
И всё-то мне, всё-то мне
загорелые трубы рук
(– в струнку,
в ля),
серебряный басок
легкоголосой
ласки
да ветер волос,
прильнувший к словам певчим.

19.IV. 1924

Облаплен он елями:
– тихая разговорчивость.
Вечернее солнце корчилось
в пальцах багровой зелени,
как любопытство.

Очень быстро
бегали
– тихое сумасшествие –
глаза его,
запоминающие закат.

Он пресмешно бормотал
– будто сам с собой –
будто следующее:
– «ёлки зелёные,
скажите, что незабвенно
девушки всюду
лукаво покусывают
тонкие стволы травинок;
ёлки зелёные,
например, мне вот
мочи нету: –
– от милой девушки –
– хорошо».

А ели
тянули невод
увеличенного,
– как в лупу, –
вечера;
темнея по лапам,
перекусывались тенью;

да, наконец,
прямо в глаза ему:
– «нишкни, глупый,
ночи петы,
перепеты
в конец».

6.V. 1924

Я вижу лёгкий скат
к деревенской
к речке
– мне с ней –
– по дороге; –
я вижу два,
как звёзды, близких
глазка;
я зажмуриваюсь крепче
грудной песни
на изъяне опушек лесных;
я стягиваю смуглым узлом
зелёный кушак
нынешней весны;
я несу в ушах
немолчное шипенье листьев;
меня выносит
ловкое,
захлебнувшееся внутри
весло
на багровые кисти
закатного неба.

Выгорает
косое солнце,
удлиняя
с каждой секундой
в геометрической прогрессии
отхваченные куски плоскости:
оно вползает медленно
на макушки деревьев,
гипнотизируя

в птичьём лёгком свисте —
— посвисте
металлически напряжённые листья.

Мне по сердцу
двойная запевка сумерек.
Я вижу,
как почтительно залетает
на о́блако, за облака́
отмашь лучей
золотая.

25.V. 1924

* * *

Я был царевной на Припяти,
на берегу скул
моей любви монгольской.

У меня худели пальцы,
восковела кожа,
хрустело небо в висках:
друзья мои, – от желаний.

Я боек был и пронырлив
в миг на длину веков,
как звёздный свет.

Так не от молодости же,
о, подвох.

Мной ненавидимые куры
могли во мне любовь ерошить,
на подлых крылышках Амура
по мостовой болталась лошадь,
галдели тёплые индюшки,
тяжёлый ветер тёк на флаги:
– я бился – ушки на макушке, –
торчал я головой из влаги.

Друзья мои, о, как трогает
даже воспоминанье яси.

30.V. 1924

Пока бьёт холодная вода глаз,
 затягивая сознание в неприятную глубину мира, —
 пока ночные кошки расползаются, как змеи,
 как черви,
 курами перебегая дорогу по своим теням: —
 — так это я,
 незабвенной второй ко всему,
 легко, как дерево карандаша под бритвой,
 поцелуями режу крепкое масло твоих губ; —
 — так это я
 просыпаюсь с твоим утренним потягиваньем,
 которое слышит весь мой сон; —
 — так это я
 засыпаю с беглым просмотром твоих сновидений.

Когда на цыпочках пробегает по снам
 длиннокудрая лошадь
 со стройной вязанкой твоего тела на спине,
 когда теперь
 орет по тебе
 рассвета крик петушиный,
 — я вспоминаю ветры степей,
 воды глаз, рек тишины.

Потому что, как тополиный пух
 в нежность зимних муфт,
 в прежние года
 воспоминанья перелетают,
 когда,
 мыслями махнув
 на экую даль,
 глаз слюда
 увеличивает детали.

Отъявленное негодяйство
 так преследовать молодую женщину.

30.VI. 1924

ПЕНЬЕ СЛЕПЫХ

Две медные медали
инвалидной песни слепых,
стукаясь друг о дружку, слетали
со взбитых закатом мостовых.

Ко мне задорно доносилась
женщины песочная накидка
складываясь просительно, сияясь
испить двухголосного напитка.

О! Робость показной немощи
капала с песни древним зельем,
когда взвизгнул колокол, вспенящий
с ветром фехтующую зелень,
когда два деревянных голоса
отшатывались и вспоминались
разлетающимися по́ лесу,
эхом накинутыми на́ лес.

3.VII. 1924

И.А. АКСЁНОВУ

Я люблю, должно быть,
ещё таких же женщин,
как ты, милый Аксёнов,
видимо, набитый тем же,
что разлетается как сон,
(разумеется во время бессонницы).

Мне лестно думать, что наше
плотно выстроенное совершенство
проваливается под твоей мыслью,
как мост под взведённой в ногу толпой
от согласованного биенья.

Потому что
пахнет высью;
да к тому ж
много ль хлопот
у человека верхом на гиене.

Мне подмаргивают уютно
под замаскированную доблесть
лёгкие твои фигурки, будто
намагниченные об лес.

Будто граница объятая,
концами пальцев ощущается,
что изнывает от нежности
воздушная высота башни,
отвечая на pianissimo весны
потным дыханьем чугуна.

Ты согнутым мизинцем
ласково и поощрительно

похлопываешь по плечу
сентиментальной башни;
выстукиваешь нечто телеграфное;
жонглируешь папироской в зубах.

4.VII. 1924

А.А. Синицыной

Отталкиваю стол –
– довольно монашествовать:
опять запальчиво столь
рукой она машет
по-мальчишески, под окном моим,
под мясом зелени сырой,
разговаривая со знакомыми,
разбалтывая сироп
жестов.

Ну подождёт!

Стемнеет:
я шопотом перебегу
давешнее расстоянье
и ей,
запомненной наизусть,
подражая,
под окном своим я пройдусь,
её забывая.

9.VII. 1924

По плаванью порнографического фокстрота,
купаньями водоросли выпивая,
мелодически выбивает
утрированные ритма пестр^оты
сознание моё в бельмах
ночи одряхлевшей.

Что ты?

На обгорелой сопелке Лель мой
освистывает коровьи пехоты.

Эхом, – эх нежареный рябчик, –
леса тетёркин порх:
в медленные травы, в хор
шишек на соснах горячих.

Эхо, окунувшееся в сон,
резонирующее об постель мою,
романтически ворчит колыбельную
о ребяческом моём обо всём.

11.VII. 1924

Добрая половина герольдов
орёт о дикой неге.

Для меня, пожалуй, пароль да
тонкие перчатки для изящества
смело прикладывались «всей недолгой».

Это – исторический экскурс. Чудачка!
Настоящее – к сердцу. Милая!

Гремела горная вода. Горная
ночь: мохнатая, близкая. Горные
звёзды. Это всё по дождику,
– горное-то, – «который, который перестань»;
по пейзажу на одной ножке: «что ж де?», как
пенящаяся морскими барашками береста.

Мне ясно видно отсюда,
как бегают береговая собака,
мутными от страха глазами
прискуливаясь к родимым вещам,
ещё так остро пахнущим
не трупом, о, нет:
хозяином,
в данный момент
жестикულიрующим мёртвыми конечностями
в судорожной волне,
отрыгивающей труп на берег:
через полчаса
– к собачьим лапам.

25.VII. 1924

Не контрапунктическим вальсом Дуная,
так лиричным плетнём с берёзами,
органным пунктом, дальнобойным легато,
понятым небом над мужичками тверёзыми,
отмелями расхлёбывается каша волн
чрезмерной Оки.

Но ругань барок
дразня песками цвета моли,
сажает на мель;
но брызжет в поле,
поя туманов перестарок
деревней, спёртой за коронкой
сыпучих берегов.

Ока!

Милей красы уларбуронга,
жуя земли сухие корки,
ручьём течёт тропина с горки.
Свысока́
деревни перебор:
косые псы со взбитой кровью
в белосмородинных глазах;
с ворот, насупившихся бровью,
рябины рыжая лоза.

На той суровой рукояти
реки суеверно лежит
искусанная ветром линия:
– бакен к бакену – рыбачий вид.

18.VIII. 1924

НАД ОКОЙ

Тихо, будто сто лет назад.
Будто по картине Венецианова:
лошадь в лодке среди реки.

Птицы переплывают сад.

Над «Алёнкой» и «Студенцом»
обсыпающийся обрыв,
как всегда пóд вечер, отражает
на краю пó небу храбрецов.

Угомоняются, между волн
накипевшиеся, барашки;
задыхаясь, ушами дёргая,
с того берега плывёт волк.

Огоньки бакенов висят
у кисейной влаги; за ними,
над речным песком, из тумана
белым гребнем дрожат
«Исáды».

Под защитной моей рукой,
за ладонью подзорной
умещается весь достаток
событий над Окой.

21.VIII. 1924

На́ берег из папье-маше
валились заката косяки:
над рыбьей чешуёй реки
скрипнула чайка, выгнув шею.

Серо-зелёные заводи
капусты, проса плёс золотой,
картофельная тёмно-зелёность:
– готовы были загодя
стушеваться с тишиной.

Я видел:

жизни тонус
от стога чайки безразличной
приостановлен.

Я смотрел
на звенья лодок неподвижных,
на крылья калёных облаков,
на сети волн сухих, хоть выжми,
на́ воду серых песков.

Потом подробности картонные
тащились сухо и мертво
за фалдами вечера тонкого,
под звёздной дружеской братвой,
над пресмыкающейся влагой;
по дряблым мускулам реки,
растягивая смелой лапой
панёвы тeneвых раки.

23.VIII. 1924

По взморью рыжего заката
невольничья волна коров
катилась. Тенью был закатан
домов просыпанный горох.
Я шёл из леса по тропинке.
По ветру вечер на мази́
холодным телом, без запинки
большую реку доносил.
Сжимались сумерки. Из дупел
гнилых теней текло сырцой:
как паутиной на лицо,
мрак похотливо щёку щупал.
Тут понял я: как ни верти,
а начинают брать на мушку
деревья. Зверем взаперти
я оглянулся. —

— Потому что
росло громадное волнение
вечерней осени.

Потому что полнее,
чем требухой галантерея,
подвальный лес,
на синем вечере серея,
открыл деревья.

5. IX. 1924

КРЕЙСЛЕРИАНА

1

От тьмы,
где прёт по горбатой воде Колумб,
исподволь палубу крестя,
исподволь:
логики мечтательный колун
по шеям португальских крестьян;
от тьмы,
где закипает прообраз
двухголосных тем сквозь пальцы веток:

– превосходно Шиллером пропета
неприступная бодрость.

Сначала
в приподнятых бровях заката
затаптываются тропки лучей,
сначала
каравай вечера
в увлеченьи
печётся, горсти звёзд запрятав
за спину предательскую,
сначала
тишина листьев
стиснутыми
звёздами
небу ночь диктует,
сначала
руки ручьев виснут
по губам берегов,
сначала впустую
птиц наистарейшего завета
ловит ветер, в кустах чуть горбясь...

– Великолепно Шиллером пропета
неприступная бодрость.

2

У расслабленной воды,
над лиричным разливом
всякой зелени буйной
плотины копчёные пни,
что мирным полем
вскормленные втуне
обгорелые кукиши спорыньи.

Безработным рваны брюки: –
– не трудящийся не ест!
умывай пустые руки
да ищи-свищи присест.

Подвернулось сыто пузо: –
со зла шлепай сверху вниз.
Девку встретил – музой муза – ,
полюбил: – так оскопись.

Едет сизый горожанин,
революции продукт,
к деревенскому рожанью:
– там штанов не украдут.

Лёгкое воззвание
к оголтелым глазам –
– «прохожий посторонись»:
на плесени приречной
писаным домиком;
водяных лилий

колыбельным позваниванием;
по летним, ночным,
замирающим гармоникам
ржавым
загулявших парней ржаньем.

Напяливается, как расстоянье из-под ног
в конском карьере,
в разбитое взглядом окно
зелёная косынка деревьев.

Выжатые воздухом
виднеются глаза воды,
поплывшие в лунных гнёздах,
полных радиевой руды,
где непредвиденными волнами заливаются
вещи под откровенной рукой Кюри,
где промозглых учёных дрожь залихватская
неуверенно мир мастерит.

Волнение голодное попросту
хлещет за шиворот и всё шире, шире...

Совершенно непредусмотренной бодростью
все еще разливается Шиллер.

Легко выводит тебя
цветущая вода
за влагопроводную плотину
серебряным,
внезапным выплеском
полицейского головля
к необыкновенно трогательным

– не без сентименту –
вывескам
дальнейших берегов,
заплетающих
тугим ароматом
любимой руки
окрестные поля,
– дальнейших берегов,
придерживающих
тяжёлую ленту
животрепещущей реки.

3

Проснулся.
Перешёптыванье листьев,
солнца придыханье,
полог
ветвей заботливых,
муравы тенистой
свежесть.

Долог
взгляд девушки с песней:
с «поягод», с «погрибов»;
верен
ещё сонный
взор встречный,
разгорающийся наперебой.

Ему:
палевый, полевой платок: –
заброшенный чуть не за юность,
где самовара пар,
визг, лото;
пронырливый: – «куда ни сунусь –

– отказ» – параличный старичок;
плечи девчонок
на возрасте: –
– не «в прятки-жмурки»,
а:
– как проворованно,
о, как юрко,
о, как целует горячо.

Ей:
опушка – поляной подпольной
на застыдливое «из-за локтя́»
и –
– сразу позапосле:
штрафной рукой
по луне футбольной
– хоть за что-нибудь –
– «ни за́ что, ни про́ что» –
искрами наисладчайшей боли
глаза золотя.

4
Далекó ему, тихо, –
будто глаза матери;
не слышит он:
– «пьян де: – спит давно!», –
как моряки
в черепашьей пивной
садят по матери.

Ему отпирает
стёкла бутылок
фантастический котиска.

Дирижируя
над заплывшей пивной
парой вилок,
он наполняет
пустые квинты
действительности
необходимой,
полной, как любовь,
терцией.

И,
о, как –
– в глаз, в доску, в сердце! –
действительно
всей этой яви ночной:
– сплошная крышка.

5
Пушной,
пушистый, бестия,
умный кот,
изредка надевающий очки,
складывая бантом рот,
шепелявит стихи.
– А.... пчхи!

Закидывает галантнейшую
ногу
на опоминающееся важничанье.

Цилиндр,
фрак,
монокль...

Ещё немного:
раскуривает хвост трубкой!
Пхэ!

По-праздничному
в размашистом винном погребе
для приличья
огаревший туман наляпан:
пританцовывающий котик
величаво мурлычет,
хохоча прижимает
кружку к лапам;
умывает занозистой
лайковой
ладошкой
самостоятельные усы;
однострунный хвост
– под мышку балалайкой –
заламывает, – архимузыкант, –:
люди, мол, псы!

Поступь кошачья – в глазах,
ведущих
на уголь напяленную руку,
– за выпученным голосом,
пуще
моря
анализирующим букву,
одну и ту же.

Лапки вверх!

Твоя победа, о, противница!
Мой хроматический манер
волной с твоих пушинок двинется.

6

Издавна был накрепко приделан
к мельнице глубокий пережат,
где, смыкаясь и дрожа всем телом,
речка щекотала берега.

Цвёл там цветик железобетонный:
убегала речка из-под ног,
растекался кровью лес бездомный: —
— с милыми руками заодно.

Лёгкая девчонка там дрожала,
крепкими зрачками вечер сжав,
щёки припаяв к тугим коленкам,
глядя сотый раз в пустой ландшафт:
— не замашет дерево ногами
по спине укромных берегов,
не насвищут соловьи свиданья:
— с милыми глазами вперёбой!

Цвёл там цветик железобетонный.

Побежали к тропке берега!

— Тихо задушив, пронёс девчонку
к мельнице глубокий пережат.

7

Забрасывая на балкон
песнь, одряхлевшую в тумане,
лягавый ветер носом тянет
кривую тень за челноком.

Зеркальный бред автопортрета,
сознательно теряя счёт,
теряет шпоры звёзд паркетных,
ночь стеариновую жжёт.

Тьма циклоническая, края
аттаку газовой луны,
в промасленных чешуях кровель

расплёскивается.

Уныл

родимый свист листвы чернильной.

Горячий стук живых часов
перетекает старой фильмой,
чтоб сон в действительность просох.

Горячая ночь. Тёмно-синее
небо – кусками в ветвях;
звёзды взмахами косыми
потрагивают ресницы.

Ведь я

и сам подзорный, гремучий:
сердца в рот не клади: – умел
изрядно девушек помучить
в закостеневшей, осенней луне.
Тосковали бестии; а упругий,
холодный туман моросил
и совал свои белые руки
за тщедушные плечи осин.

Ты проглотишь меня, муссурана;
ядовитую даль – обовьёшь.

– От просторных песков Туркестана
превосходную нежность: –

– даёшь!

8

Летят непрерывно,
ещё и ещё: – не уследишь –
из воды лунные крылья.

А посреди
сада,
где пролёты деревьев неймут
нахлобученную тьму,
среди укромнейшего ухаба
кроты что ли тень взрыли?

Ну уж это чрезмерно, как любовь,
уж это, как пить дать —
— ни дать, ни взять —
ночь эту, да нашу
на лунную распашку
целым телом видеть.

Уж это подзорно,
как полевой,
сенной залив
по белу свету,
подзорно,
как голубая гарь,
миндально-горькая,
сладкая,
выводящая боль
из сознания
почище хлороформа.

...Само собой, как пить дать,
— ни дать, ни взять —
для знатоков,
ценителей-любителей...

Сад, не щурься в фате
лунной, ленивой;
не заламывай ветвей
на память о тех,
кого ночь пленила.

Сад мой, сад, не визжи
щепотками птиц:
– любимую-то не слышать!

Туманом не дымись:
– любимой сыро!
Ветром в траве не пыхти:
– ей же страшно, дурень!

...А встань в забытьи – :
– уж это, как пить дать,
ни дать, ни взять,
как лист перед травой – ...

Сад.
 Подзорный.
 Мой.

IX-X. 1924

О, сколь громадная фигурка
легко вывихнулась оркестром ...
– да нет же! –
– флажолетом барабана. (:)

Глазей: она
с лёгкостью хирурга
узким и точным телом
оперирует воздух окрестный,
обливаясь из жбана
джаз-банда.

Сопливо шмыгают
методичные носки ботинок;
заплетает рука
феноменальное лицо;
распространяются мелодичные бока
в отъявленном хорале
семантических глаз: –
– под улюлюканье рояли,
соперничающей
с двусмысленной хрипотцой
бандитского джаз-
-банда.

Спина откашлялась ногами::
ревёт детьми малыми сугубый,
балериннейший подъём плечей;
вырываются через раскрытые губы
откормленных танцем ног
туловища подкошенных каланчей;
из тела,
разлэгшегося плодородным трупом,

произрастает секретнейший (:)
– ёлки зелёные: «безумен!» –
– и «тубо»-то на нём и «табу» –
трансцендентальный нумен.

И,
– (как аристократическая доминанта
сухопаро подминает
разомлевшую бабу
заголившихся звуков:
– «возьми руку!» –)
– всё-таки, от избытка силы,
и,
– (да кабы не презервативный бубен? –
– этих бы всех ног, рук,
глаз банда)
просто напросто: –
: – наидевственнейшим: –
– «милый!»

31.X. 1924

Жил-поживал: кажется, проглядел
русалок земноводную прелесть
ещё в та поры, когда, где
мысли об юность грелись,
ну, хорошо, в половодные, в та́ поры,
заимствованные у зим,
кутанные в театральные капоры
глазастых, животрепещущих кузин.

Ну, хорошо, как болота песков,
засасывали кожаные кресла,
из которых, а posteriori, смотрелся
юношеский, с рецидивной тоской
роман:

душные плечи плыли
на десятилетние дистанции, на рожон,
с озадаченного подбородка в мыле,
за лошадьми в мыле.

Ну, хорошо.

4.XI. 1924

ЖОЛУДЬ

Закипали дни,
как и некоторые песни:
– одна другую,
того гляди, вытеснит – .
Понятно оно:
куда известней
чем все вместе взятые знаменитости,
было мне
растущее мирозерцанье
– (на дно,
в озябшие дни,
оттепелью – кипеньем при нуле)
моего юношества:
– про которое,
к примеру, как в нарзане
впервой,
или в отверстие
– в стул там, либо в изгородь –
головой: –
– просунешься-то? –
– точно так! –
а вот вытащить обратно? –
– будь здоров, мил друг, попотеи,
поужаснись
в неожиданном хомуте
нового быванья:
– вроде побывки! – :
поучительно очень,
– весьма
неприятно.

Любовь закрадывалась
отводимой веткой орешника,
тропинкой в орешнике
под горку,

немудрёным – тем милей –
синим лоскутом ситца,
подогретого грудью,
задыхающейся от бега:
чтоб не опоздать
до завтра
проститься.

В летнюю ночь,
неразлучную с лазейкой,
расхлабыстанной в плетне,
в летнюю ночь,
растёгивая
процелованным объяснением
чуть не каждую пуговичку
созвездий,
считалось, строго говоря,
непролазно необходимым
нижеследующее
утвержденье: «весь де,
со всем, что ни есть, моим
весь де я
здесь: –
– и никаких гвоздей!»

– Post factum, –
закидывая удочку
туда,
закусывая те ж
удила,
песня вылавливала,
брала
оттуда
человечьей юности
чуточку.

6.XI. 1924

БЛИЖАЙШАЯ ЖЕНЩИНА

Малый цветик у ручья
плёл своё существованье,
шею длинную качал,
мордой страшной озирался;
пел весёлый инженер:
«Сильва, ты меня не любишь»,
– так позирует изящный
нищий вшивым существом; –
солнце низкое в падучей
пенилось, качая тень,
цветик девушку подучивал
грудь желаньем бередить,
утро мелкое – бессильем,
водяное небо – заревом,
– цветик – «Сильва, ты меня»,
подзадоривал, – «не любишь»,
точно, губки надувая,
пела, ножки расплескав,
– как деревьев сучья, – по лугу
про задорную любовь
женщина.

– Так это самое
цветик пил, разоблачаясь
одуревшим ароматом,
шею тонкую качал,
озирался мор...

О, краса моя!

10.XI. 1924

Л. ЛЕОНОВУ

И я ощущал твоё боренье
несусветной теплотой своего тела,
когда видел я, что ты выкинут
весь до тла, мой милый.

Древние слова перетягиваются
острей чем в талию над кринолином
тонким хитоном
с лёгкими намеками отстоявшихся корней.

О, выгораживающий свои интересы,
безмолвный лиходей,
ты стараешься притянуть звёзды,
ещё только едва задумавшиеся о том:
лечь ли им в глаза твои
ласковым светом.

23.XI. 1924

ДВА ДУЭТА

1

В зимнюю, мохнатую оттепель,
близкую, ночную и влажную,
как любимые глаза,
начдив одолжил мне
свои санки с лошадыю
в полное моё распоряжение
на три часа.

Ветер наигрывал
на контрабасе броневика,
гудя с горы
в опрокинутую бочку посёлка,
замазывая корочкой холодка
смётанный снег.

Весело было переключивать со щекí на щеку
ломти ветра,
поворачивая разгорячённое лицо
по направлению к муфте:
за ней ведь
слова соседки шевелятся.

Помнишь ли мягкую сепию
вдруг вынырнувшего дома
в певучей коричневой низине?

Помнишь ли мягкотелую теплоту
подвернувшегося уюта
и медленных поцелуев
плеск родимый?

Помнишь ли кроме того
призывный сверху с отдалённого
хохот паровоза?

Милая! Пора: довольно
для любовной прогулки
этих отмаханных вёрст.

2

Серела пахучая пыль цветущей ржи
в разбалованной солнцем низине;
с горки были отменно хороши
тающие вдали полей клинья.

Срыву дёргались тощие сухожилья товарного:
красных вагонов подневольные звенья
сухо трещали, облегчаясь в разбеге,
как вытягиваемый из тайника стебель

травинки летней...

Вот, вот, совершенно так же она пришла
из дальней деревни,

замотанная в послевоенное тряпье;
стояла, прислонясь к пейзажу, смешная...

– ну как артишок –

торговала

– красотой ворковала – :

«Эй, яйца, покупай по дешёвке!»

Чуялся голос певучий за выкриком
грубым и неумелым, как первое любовное
томленье юнца.

Выдержанным тельцем крэмонской скрипки
упругая статуэтка деревянной девушки
разоблачалась до конца.

25.XI. 1924

Белобрысым локоном,
выбившимся из-за громадных глаз,
опечаткой водного барашка в тишь,
жидким осколком месяца
вскипала худенькая весна,
вечером схваченная в губы,
перепуганная –

– ишь ты! –

– весна!

Качался полноводный воздух
в набухающих баржах
деревьев, разохшихся за зиму.

Вечер, бледный как спаржа,
немецким, романтическим, ливерным пальцем
опечатывал весёлые рты,
чтоб по саду, едва осязаемому,
смех наш не раздавался.

Мы сидели в саду на скамейке
– мертвым мертвы, –
далеко, легко
на весенние спозаранки вынесенные,
как на погреб парное молоко:
– в нас юность настаивалась.

3.XII. 1924

Когда, чортъ его знает откуда,
валится ветер,
прыгая с берёз, с берега
на́ воду реки, –
– первый, так сказать, жест:
всюду кокетливо
выправляется кружево манжет: –
– пена волн, листьев изнанка,
женщин взвизги, осанка мужчин.

Мне боязно, что будет скормлен
сразу весь запас свежести,
что ветру, зарвавшемуся в высочайшем бешенстве,
трудно разобраться в хлороформе
всех этих доскональных для нас вещей;
мне боязно, что мы – в своих тарелках –
не легки на подъём ко внезапным грозам,
что вообще: –
– по овчинам зелени застарелой
бежит развевающийся, рыжий лозунг.

15.XII. 1924

По голубому океану,
где трепетал мой тихий парусник,
качались чайки с бури, спьяну,
влачась клочками гребней яростных.

Иной мы ведали покой,
где череп скалила луна,
где распускался над рекой
вечер, тихий, как океан.

Друзья, пройдёт когда-нибудь
моё пожизненное тленье,
и я, вобравший мира муть,
смеясь забуду песнопенье.

Где превосходный синтез творчества?
Где лёгкая рука реки? –
когда пловец конечно корчится,
кляня спасательные круги.

Как мне легко подобьем вальса
вертеть застой своей крови,
когда с любимой о любви
свидетель дней моих шептался.

Как мне легко в рудой рябине
ловить отрепья темперамента,
когда уста в уста беспамятно!
– А я-то? – лёгок на помине.

Купайся милая люцерна,
дрожи у серенькой сирени,
где двое думают наверно,
что мир оставил их на время.

Я лёг на океаны луга,
на белый парус поселенья.

Мои друзья? – искал я друга,
жизнь провёл, как привиденье.

11.I. 1933

Её плечей и рук хрупких,
Думается мне, ты не трогаешь ещё,
А только необозримые губки
Наблюдаешь тихо из логовища,
Во власти граммофонных арий.

Дачами украшен ты, именно
С тех пор как в тебе чулок карий
Иль рука её в перчатке глиняной,
С тех пор, как не можешь справиться
С любовью по своей красавице.

Здесь на лужайке закадычной
Бледнеет дряхлый мотылёк.
Здесь вечер, точно параличный,
Брюжит предсмертный монолог.
Здесь будет скоро месяц лысый
Трепаться в водах шкуркой лисьей,
И леса прорастёт копна
В живые космы ночи мирной,
И потечёт похлёбкой жирной
Июльской теми тишина.

Здесь мне жар темнотищи выдал, как
Месяц в сорванное бельё
Бряцает, да дразнится иволга
Пародируя стон её.

26.III. 1925

СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ

От лихomanки: «мамаш, чайкю!»
Разменивает рупи на экую.

Друг, успеется объевропеиться.
Не забывай, что ведь так же
Солнечный луч перебирает
Лакированные внутренности
Полуперетрепетавших
Вояк, затянутых в войну
Сударей, герров, мсьёв... А, ну!

Назад откидывая, как волосы,
Года за рукописью Нестора,
Тоненьким, домотканым голосом
Поит флейта волну оркестра.

Эх, брат мажор, каково тебе
Греметь в тисках С. Прокофьева?
Держись. Выноси. Хоть бы
Гамом гамм жар его, любовь его.

Когда ж домучивается оно,
Несусветное тело музыки
Его, – с прочностью гипотенузы
Кипит мной, говорит – мной.

30.III. 1925

Тут белкам не до сна.
Дрожит в норе барсук,
Прикрывает сосна
Юной девы красу.

Пст, соловей, дружище: –
– Опасная картина!
Юноша рядом. Свищет,
Балансируя на носках ботинок.

Вытаскивает браунинг.
Она – тормошит букет.
Ветер повой потраурней,
Так как ей спасенья – нет.

Он стреляет, зачем-то
Несколько раз, по ней.
Она упавшей лентой
Стелется у корней.

Но утечет мерзавец.
Не отступит пространство.
Заворожённый заяц
Пробует юношеского танца.

Бежал он слишком вольно,
Пачкая жизнью лес.
А рассвет ореольный
Ему навстречу лез.

IV. 1925

М.С.Б.

Луга волнует белый гусь.
Изба горланит: «тёлонь, дютка».
Зажмурясь, помню наизусть,
Где прозябает незабудка,
Где тлеет в сырости ручей,
Где ты дрожишь в тени ночей.

На пленном вое трубачей
Вскипая, пенится мазурка.
Услужливо соболья шкурка
Скрывает голь твоих плечей.
Тебя красавец, стиснув шпоры,
Целует под прикрытьем шторы.

Я тоже «никого не боюсь»!
Не убегай в портреты времён,
В овальный звон рейтуз,
В тень замогильных акаций.

Спасибо, что хоть ветром ассоциаций,
Облик твой до меня дохранён.

6.IV. 1925

УТРЕННЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ

Ночное утро блещет.
Скалятся, как звери,
Проявляемой вещи
Фотографические углы.

Как пристально, по-морски
Молодящая память гонит
Утренние размышления
На накупанные пески.

Вечер катится стеклянный
По телам пойманных рыб.
К прибрежным полянам
Усердно закат прилип.

Рыбаки тискают воду.
Мерцает жизнь пескарей.
Липнут водоросли к пароходу
Предполагающихся морей.

Блестящей берёзы абажур
Висит на луче косом,
На детском воспоминании,
Падающем лентой в ствол.

Развертывается вокруг
Давно седая – (в цветах) – сила,
Жеманный – (в цветах) – продукт:
– Очаровательная могила.

12.IV. 1925

РАЗГОВОР НА ТРИ ГОЛОСА

Развеивает лес трескучий
Движенья пуганых зверей.
Птицы панибратствуют с тучами.
Пьяно развисяют деревья.

Шагает юный человек,
Роняя за своей подругой
Смех из-под опущенных век
Иль обручем на стан взгляд упругий.

Не оборачиваясь, тоненько
Девушка в тропку шаг бросает.
В окрестностях зелёных тонет
Её розовая краса.

Он, речью нежной бередя,
Расправляет разговора складки:
«Не понимаю, де, ни гвоздя,
Танечка в эдакой повадке».

У колеи, на мху без шапки
Бродяга блаженно жуёт;
Лесных кореньев запах шаткий
Ему приправляет бутерброд.

Юноша около бродяги,
Наполеонско руки свив,
Присаживается на коряге
Взволнован и говорлив.

Юноша

– «Она развозит по знакомым
Свой – древле урождённый стан.

Нализывает рты иконам,
Порхая по святым местам.
Непроголоданное тело
Кисейной моде отдаёт.
Её любовью промертвелой
Развратничает идиот».

Девушка

– «Невежливый рецидивист,
Он бесконечно спорить может!
Но свой проверенный девиз
Всё-таки к ногам моим положит».

Юноша

– «А я то собственным горбом
Достукиваюсь к ней рабом,
Плешивый, вылощенный, страшный
Суконным рылом в ряд калашный,
Где каждый фрак раздушен, завит
Над красотой её гнусавит
Иль шепотком свистит нескромным
Со сладострастьем насекомным;
Где я, сюсюкая над ней,
Срывая в грудку поцелуйчик,
Трель булькаю, как соловей,
Дрожу в бессильи ножек, ручек».

Бродяга

– «Вдыхай милость кипучих трав,
Пей уют звериного крова,
Но не тревожь мой смертный страх
Хрипеньем мира хорового».

Юноша

– «Когда-нибудь поэт безумный
Захочет нами трепетать,
Глядь, даже бури ропот шумный
На нас не сможет намекать».

– «Звенят собаки. Пустыри
За мокрым городом гнуснеют.
В подпольях спеют главари,
Которые бороться смеют.
Раскрыв буржуя жалкий крап,
В лагуны богатеев целясь,
Цветет спокойно бывший раб,
Питая будущую прелесть.
Стекает пламя газом синим
С шей перебитых фонарей;
Тут пули, жадные, как свиньи,
Свистя, въедаются в людей». –

Бродяга

– «Я был бы ей дружок бездельный.
Что там с тобой произошло,
Что ты приют мой, мой удельный,
Нарушаешь игриво?

– Пшол!»

V. 1925

ЗАКЛИНАНИЕ

О, если б я рассказать мог
Досконально: фамилия, отчество, имя.
Исковеркана юность. Погибает всё.

Кипели цветы под ногами моими,
Чахли закаты, слипались ночи.

Проклятье тебе, мой век,
Где жмурится от природы отчей
Так называемый человек.

Помню, помню, помню я,
Что вернуть до последней степени рад бы
Вздутую серебром кольчугу Непрядвы,
Что жизнь моя, кровь моя: –
– Память о свете листьев,
Освежёванных проливной кистью;
Прущая сила растений;
Ущелья резной тени;
Мирная жвачка степей
Да раздумыванья о себе.

Чернобурые леса, машите
Пушистыми охвостьями шишек!

Огоньки цветов переливайтесь,
Червями корней зарываясь в тьму!

Окрестные эха трепещите
Под босыми голосами мальчишек!

Зáконо синтезированные подробности:
– Подрасстрел сознанию моему!

Ишь ты! – жилы рек текут.
Прорастает земля.
Да и уж надо мной поют
Могильным свистом тополя.

7.V. 1925

Неспеша набухают крепкие
Атлантические, солёные губы,
Звёзды, морские, как предки,
Подслеповаты и хúды,
Ах, полнокровный конь
Кивает плакучей гривой,
Месяц, как бабочка на огонь,
Замахивается криво.

Так плыви, как месяц, осторожно
На синие плечи озёр,
Всей кровью подкожной
Грея свой, – как сети, – взор,
Где уж я перочинной рыбкой
Ладонь твою шевелю, как
Заваленная родительской улыбкой,
Крохотным тельцем пропитанная люлька.

21.XII. 1925

Косые косы причесав,
Очаровательная, идёшь, как с куклой,
С улыбкой пухлой,
Долго, – как через три часа.

Ты к стройным перьям лебедя
Приникаешь желаньем слитным;
Резюмируешься: – не леди, де,
– Девушка, простая, как ситный.

А вот я теперь, умница,
Смотрю на тебя, как на одинокий принцип,
К которому что ни сунется –
– Мигает девственностью провинций,

Где тянется звон над долиной
Бережнее, чем лента Дона;
Где двоим под плетью соловьиной
Не больно, не тесно в мгле балкона.

Что ж: коль в детстве моём бедном
Тётки били сабайон, –
Привыкай реветь о медном,
Пыльном лебеде своём.

9.III. 1926

ЭЛЕГИЯ

Прогулка юности. – На вожжи –
– Тугие, как резиновый пляж;
От косолапости гамаш
До выпуклого неба. – Позже
Смещались годы: каждый за́ два;
Кипела перьями Непрядва;
Просматривались бегло лохмы
Родных деревень и лиц. Бог мой: –
Страсть ютилась впопыхах
И жар её торчал в стихах.

Небо рваное к хибарке
Прислонялось; в кротком парке
Я надменничал, как гусь:
«Захочу и застрелюсь»

Кое-кто с тех пор застрелен.
Кое-кто себя забыл.
Кое-кто, – ровесник трелям, –
Упражняет прежний пыл.

Тонкий бич осенних дней
Жизнью щёлкает моей:
Мне досталось их могилы
Шевелить остатком силы.

12.III. 1926

СЕРЕНАДА 1

Ты мнишь, будто ты неудачник.
Не чую пожизненный смысл,
Ты бродишь, как загнанный дачник,
Понур, неприятен и кисл.

Товарищ, ты сдохнешь со скуки:
Болтается мысль твоя врозь.
Закинь свои хилые руки
И вялые ноги забрось;
Себя хорошенько растискай
И в небо своё загляни:
Там птицы, как звёзды, а воды
Трепещут отвагой сибирской: —
Пей, пей свои годы за них.

Как Волга, как свежая песня,
Как звон и уют на Дону,
Красавица жизнь принимает
Всех круглую жизнь на дому.

За Ваше здоровье, миледи.
За Ваши душистые ноздри,
За Ваши солёные губы
И глаза.

18.III. 1926

СПРАВКА

Не деревни и полей,
Не города – я поэт,
А – себя и людей –
И других поэтов нет.

Как синкопствующие негры,
Коиx гомон свеж и борз,
Замазанные телом недра
Развязывает милый Гросс,
Остановленный, будто в шлеме
Деревенского Руссо,
Наивной бодростью размышленья
Над прокофьевской красой.

Ах, ты, Гросс! – Торты церковей,
Жжёные головешками галок,
Оплывают теплотой к реке,
Точно кто весной накачал их.

Уж эта нам заграница,
Самая ручная синица...
Ржавый взмах луны старинной
По реке течёт задорно;
Ослабевшая валторна
Колыбельной окарины;
Он ей пальцы целовал,
Милым зверем называл.

Но заграничная весна
Так же, как и наша, ясна:
Так же собачки спуют
И девушки себя несут.

28.IV. 1926

КАНТАТА (ЛЕТНЯЯ)

Блюдо заводи лежит.
Рыбы прыскают вы́со́ко.
Пахнет мылом и шипит
Кособокая осока.

Друг, меня ты не жалеешь.
В песни нежные глядишься.
Ах, не долго прыгать – ишь ты! –
Наживёшься – околеешь.

Мальчик твой, – ядрёный лебедь, –
Приспособлен к камышу.
Вот те крест, – его лелеять
Убедительно прошу.

*

Утром на рассвете
Спят отцы и дети.
Бодрствует под ивой
Полуживой служивый.
Здесь моё гнездо.
Do-si-do-re-do.

Жил-был Петр Иваныч Рихтер.
Фрол Брантом, Егор Карбьер.
Вот мерси!
Замечательные люди
Si-la-si.

С добрым утром Пушкин.
Над твоей могилой
– Сердце на макушке –
Я стою, мой ми...
La-mi,
Mi-fa-fa-do, re-mi...

*

Эй, папаши и мамыши,
Подходите поджидать;
Коль не вымрут детки ваши,
Значит станут поживать.

Воспаленья желез, почек,
Ушки в гное, дифтерит...
Милый, махонький щеночек
Будь здорова. Не умри.

*

– «Я не люблю самоуправств.
Имею смерть и жительство.
Поэтому, да здравств..., да здравств...
Советское правительство.

Пора сто тысяч мне найти:
Прилечь в свое издательство.
Довольно свинства на пути.
Довольно издевательства!» –

*

– Не знаешь ты и не узнаешь,
Как тихо, как лениво поёт,
Как близко висит и стучится
Весёлое сердце моё.

28.VIII. 1926

СЕРЕНАДА 2

Звёзд таинственные стаи
В ночь тугую вплетены.
Жёлтый розан облетает
Мелодической луны.

Губы в милой, руки в милой,
Взор блаженством напоён:
Возвращается сквозь силы
Насладившийся гарсон.

Платье в милом, ноги – пуще,
В поцелуях голова:
От юнца на сон грядущий
Оправляется вдова.

Брось трепаться, Эвридика;
Федра, матушка, лечись;
Ипполит, не бегай дико;
Позабудь, Орфей, про высь.

Вы, влюблённые герои,
Дорогие чудаки,
Пейте, пейте на здоровье
На рассветах ветерки.

5.IX. 1926

* * *

Воспламеняя нашу кровь
В тени мясных кокеток,
Одушевляет нас любовь
На лоне вод и веток.

Заболеваем мы с тоски,
Навеянной амуром,
По пальцам мягонькой руки,
Объятой маникюром.

Висит хронический закат,
Догуливают птицы,
Невежливо на нас глядят
Холодные девицы.

Мохнатенькие, как легко
Капризничают звёзды.
Табак шевелит и левкой
Хорошенькие ноздри.

И мы, прикрыв от лишних лиц
Заботливым сараем,
Слегка встревоженных девиц
Невинности лишаем.

12.IX. 1926

Посмотри, как плещет что за
Симпатичный ручеёк,
Разливается и распространяются
Рыбки вдоль и поперёк;
В струйках на стручке корицы
Вкусных каперсы жучков;
Вдалеке под ними лица
Одутловатых облаков;
Мальчиков нагих фигурки,
Женщин голых телеса.
С бережков летят окурки
В дорогие небеса.

Там на травке у водицы
Слопал странника цветок;
Целлулоидной девчонки
Глянул глянцевый бочок;
Лёгкий стон высокой птицы
Распахнулся и протёк.

16.XII. 1926

Ты может быть лелеешь
Классический ручей
На вылощенном луче
Луны,
Куда послунявишь – приклеишь
Мальчика апокрифического
В очевидном величестве
Ночи?

Нет. В закате косом,
Как смежающий мысли сон,
Пухнут по б́ережку мхи,
Прислушиваются к земле
Лопухие лопухи,
В распускающейся мгле
Влага канавок
Оттопыривается под небеса...

Да нет же!
Откуда он взялся,
Наиподлейший навик
К девчонке подъезжать на козе?

Милочка, не глазей
На вышеизложенную упряжь.
Спрыгивай с ходуль: –
Ножки на них зазубришь.

Коротко и ясно: –
– могу ль
Тебя любить
И любимым быть?

3.1. 1927

Снег, разорванный санями.
Балерина под полой.
– Голос в памяти, в тумане,
Равнодушный, меловой.

Наклоняется подругой
В искушеньи молодом,
Бьётся свежестью упругой,
Пульсом, горлом, ветерком.

Мальчуганом обопрелым,
Гордо влезшим на жену,
По форшлагам и по трелям
Спотыкается на слюну. –

Предстоящая невинность,
Точно собственная юность:
С удовольствием накинусь,
С любопытством в тело сунусь.

Тихо дрогнет балерина,
Мёрзнут губы на ветру: –
«Не облизывайтесь, лучше
Поцелуями ототру;
Вам для памяти придётся
Ворошить могилы снов»...

Улыбается балерина,
Не расслыша слов.

2.I. 1927

* * *

Ты льёшься, прелесть моя, свинцовое небо,
Помесь эфира с землёй, андрогин.

Ты кинулось бойко к заставе московской,
К полям потешным, к подветренным псам,
К хвостику города больничной архитектуры,
К саду нащупанному дождём.

Весело насвистывая мазурку,
Ветер шлёпает возмутительные стада.

Безмозглая городская свинья на рельсах
Отважно хрюкает пред самоубийством.

Плачет Орфей, в узелок скитанья пакуя:
Фи, плачущий мужчина, нюня, смешно!

Почтенные гуси, индюшки и многое другое,
Неудачники кастрированной судьбы,
Совсем не для вас восходят семафоры
И я бряцаю.

О, восхитительная жизнь!

XI. 1926

Нас любовь выводит в люди,
Детство греет, будит кровь.
Помним губы, помним груди.
Выпьем, братцы, за любовь!

На скамейке у забора
Разыгрались флейты губ:
Молчаливость разговора
Заголяет нежный пуп.

На диване – морда в лаке –
Импотентный, как морковь,
Да хозяйкины собаки
Тихо воют на любовь.

На лужайке неприглядной
Под гармошку лёгкий флирт:
Пареньки у девы жадной
В очередь вкушают мир.

Нас любовь выводит в люди,
Детство греет, будит кровь.
Помним губы, помним груди.
Выпьем, братцы, за любовь.

29.XII. 1926

Недавно, вежливо, бегло
Жуя простывшую окрестность,
Я не подозревал, что треснусь
Об её праздничное тело.

Теперь с повторным удовольствием,
Придерживая, прибережь
Стараюсь довольно скользкие
Следы нечастых наших встреч.

Хлебай природу, человек:
Леса, где тлеет соловей,
Удобную небрежность рек,
Куски питательных полей,
Вещей спокойный частокол,
Окружных жизней произвол,
Существование своё
И обаяние её.

26.I. 1927

ПЕСНЯ

Идёт четвёртый год
От молодости моей,
А мне как будто бы
Жизнь не страшней.

Прелестная ровесница,
В теле любви, в лице,
Тому назад два месяца
Убита твс.

Поношенный, как лысина,
Дебелый богатея
Довольно независимо
Воркует о красоте.

Старушка с толстым сердцем,
Горбата и хрома,
Навостривает тельце
На новенький роман.

Скромно схватив, как заяц,
Весенней ночи стан,
Легонько провисает
Месяца ятаган.

Старушку ждёт могила.
В театре ржёт купец.
Забуду девицы милой
Неприятный конец.

Напыщенность юношеская
Месяца с весной,
Пусть задумавшаяся,
Живёт со мной.

27.I. 1927



Георгий Оболдуев. 1934



**Оболдуева (в девичестве Толстикова) Нина Фалалеевна –
первая жена Г. Оболдуева**



Елена Александровна Благина. 1927

8.
Тема из предвидущей карты.

Родимый бурор острова
И пальма под увеселым замком
— Детская лет всегетные друзья.

Короли оти бвим
Вегералии с милой
Давным давно.

Вправо от его дома,
Как пройдешь колодец,
Торы, кождуя мобил,
Нет! — закат свет в миза.

Г. Д.

Автограф Георгия Оболдуева



Обложка журнала «Под знаменем Белморстроя» (второй номер за 1937 год), в котором опубликована статья Г. Оболдуева о Пушкине

Стихи

ТЕТРАДЬ

Г. Оболдуева

№

КЛАСС

ШКОЛА

Забуриваете читать у
двух моих книг: "Путь
вдоль по окрестности" (1923-1924гг.)
и "Синтетические примеры (1925-1935гг.)"
перечислите мне для
Александра Павловича Квеш-
ковского, моего друга, кото-
рого я считал одним из
лучших современных мне
людей.

Г. Оболдуев.

29. IV. 37.
Медведь.

Автографы Георгия Оболдуева



ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОБЕРТ ШУМАН

- | | |
|---|--|
| <p>1. „БАЛТАСАРИ“ (Баллада на слова Гейне, русский текст Д. Усова).</p> <p>2. „СОЛДАТ“ (Романс на слова Г. Х. Андерсена, русск. текст Д. Усова).</p> <p>3. „ДАВА ГРЕНАДЕРА“ (Баллада на слова Гейне, русский текст В. Никольского).</p> <p>Исл. С. П. Зубко и Г. Н. Бегая.</p> <p>1. СИМФОНИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ оп. 13 (Обработка для скрипки и виолы Г. И. Бегая).</p> <p>Исл. М. М. Франкала и Г. Н. Бегая.</p> <p>1. „ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ“ (Романс на слова Данте, русский текст М. Улицкого).</p> <p>2. „НА ЧУЖДИНЕ“ (Романс на слова Элендорфа, русский текст Г. Лишнев).</p> <p>3. ИНТЕРМЕЦЦО (Романс на слова Элендорфа, русск. текст Г. Оболдуева).</p> <p>Исл. Г. И. Тортанов и Г. И. Бегая.</p> | <p>1. „ЛЮБОВЬ ПОСТА“ (Цикл из 16 песен на слова Гейне, русский текст Г. Оболдуева).</p> <p>Исл. Э. Э. Розенцтраух и Г. И. Бегая.</p> <p>1. „ОРЕШНИК“ (Романс на слова Мюльера, русский текст Ф. И. Берга).</p> <p>2. „ВЕСЕННЯЯ НОЧЬ“ (Романс на слова Элендорфа).</p> <p>3. „БРАТЯ—БРАТЯ“ (Баллада на слова Гейне, русск. текст Д. Усова).</p> <p>Исл. В. П. Меньшикин и М. Д. Дукустумский.</p> <p>1. „КОЛЬЦЕЛЬНАЯ“ (Дуэт для сопрано и тенора, на слова Габбена, русский текст В. Коломийца).</p> <p>2. „ПОД ОКНОМ“ (Дуэт для сопрано и тенора на слова Р. Бернса, русск. текст В. Коломийца).</p> <p>Исл. Э. Э. Розенцтраух, В. П. Меньшикин и Г. И. Бегая.</p> |
|---|--|

Франц Шуберт и Роберт Шуман—два гениальных немецких композитора. Творчество первого относится к десяти и двадцатым годам, а творчества второго—к тридцатым и сороковым годам прошлого столетия. Имея созданное большое количество весьма разнообразных произведений: симфонии, оперы, хоры, фортепианные вещи и т. п. Но в основном оба эти композитора являются создателями романсов и песен в той форме, в какой романсы и песни существуют до настоящего времени.

Вокальные произведения до Шуберта и Шумана являлись, главным образом, в религиозных песнопениях, оперных ариях, любовных песнях и „песнях по случаю“, чаще всего в куплетной форме. В старой форме было создано немало произведений: достаточно вспомнить глубоководные вещи Баха, Моцарта, Генделя, Ганзеля, Бетховена и др. Могучие злонизи наскоком проникают эти гениальная музыка. Но все эти человеческие страсти и концепции их—протекли в музыке старой формы, на каком-то устаревшем музыкальном фоне. В основном этого фона, в дальнейшем что и вступил, являлся художником—и заключаются приближенные отблески новой формы от старой.

И Шуберт и Шуман в своих вокальных произведениях была не только пионером новой формы, но и гениальнейшими мастерами ее.

Жизнь Фрица Шуберта очень коротка, всего 31 год (хорошо Моцартовская на 5 лет). За 14 лет творческой жизни (первыйopus—баллада из слова Гете „Лесной царь“—литература символистского Шубертом) им удалось огромное количество произведений; повсеместно, что Шубертом, написано, примерно, по одному произведению на каждый фактический день его жизни. Литературность и мощь его была очень мала. Внут. крестьянина, сын незнатного учителя, обремененного большой семьей,—Шуберт жил исключительно на доходах со своих музыкальных произведений, и ту пору чрезвычайно скудных, и всю жизнь боролся с финансовой нуждой.

Роберт Шуман происходил из мелко-буржуазной семьи. Отца его был квинтопроромом, со сравнительно небольшим достатком. В юности ему пришлось вместе бороться со своей семьей. И отец и мать Шумана настоятельно пытались сделать из сына юриста, из того, что материально-неустойчивое положение композитора считавшим не походя для него. К 22 годам Шуман окончательно просил занятия юриспруденции и посвящает себя музыкальной деятельности, сначала—как журналист и pianist, а затем, почти исключительно, как композитор.

Программа вечера камерной музыки в Медвежьегорском театре



Георгий Оболдуев и Эрна Васильевна Гофман (в замужестве Померанцева). 12.1.1947. Вклеена в тетрадь С.П.Боброва того же времени (РГАЛИ)



Георгий Оболдуев. Фотография. 1947

* * *

Уже здоровый день
Поджаро и спело
– «Гоп»!.. отпрыгивает в тень
Моего постаревшего тела.

Когда добрый вечер
На мои плечи
Курицей не птицей
– «Присаживайтесь!..» садится.

Если даже покойной ночи
Автоматическое напутствие
Всё-таки что есть мочи
– «Не стесняйтесь!» – распухнет.

Батюшки, уж и сон переваливает
Через поджаристый, палевый,
Утренний хребет
Французской булки.

Стало быть,
Круглые сутки
Ты во мне, мой свет.

19.II. 1927

ПЕСНЯ

Текут от небосклона
Заката острова;
Вечернего затишья
Прохладна острога.

Речонка, как девчонка,
– Туманна и строга, –
Запутывает кудри
В ночные берега.

Угомонённых бебей
Закупорена пасть;
Тропинка под ботинки
Расчёсывает страсть.

Душками военными
Отважной красоты
Дачницам удачницам
В кровь натёрты рты.

Ёлок зелёных
Долог уют:
Ух ты, мать честная,
К утру домой бредут.

Она устало трогает
Рукой дверной косяк;
Он вежливо прощается,
Целует так и сяк.

Речонка, как девчонка,
– Умыта и стройна, –
Плещась, тугие косы
Плетёт по сторонам.

Душки военные
Скрипя зубами спят.
Ёлки зелёные
Попрежнему стоят.

Под белокурым паром
Вскипает небосклон,
И занят всяк сознательный
Полезным ремеслом.

IV. 1927

Скачет босой жеребец.
Тащит мальчонка хомут.
Девочка гонит овец.
Встречные ветры поют.
Нежен вечерний простор
Голых весенних полей.
Неба кисейный узор
Льётся по коже моей.
Я – городской завсегда́тай –
Еду землёй конопатой,
В дряблой телеге трясусь,
Пыли гутирую вкус.

Волей белья и еды
Ближе мне улиц ряды:
Обыкновенный уют,
Где ундервуды поют.
Ближе мне служащих бег;
Нежной бездельницы кольца;
Быстрые двери аптек;
Крепкая рысь комсомольца;
Нервных трамваев возня;
И сам я день ото дня.

7.V. 1927

Эй, вы, кропатели стихов,
Трамбовщики мирских кручин,
Заики следствий и причин,
Есть повод петь от пустяков.

Ведут младенцев из садов.
Трубит в отряде пионер.
Домой торопится школяр.

Наивно, как в машине пар,
Как оттопыренный амур,
Сквозит органый плеск микстур.

Я вижу в жидкое окно,
Как по небу бежит вино,
Как солнце треплет космы труб,
Как тает старая листва.

Раскинув средь своих затей
Костром древлянским мавзолей,
Сопит младеница Москва.

Здесь гражданин, – велик иль мал, –
Бежит своей тропой звериной
К той, чей голос снегириный
Хрупко в трубке ворковал;
Чей отточенный, столярный,
Ладный шелест ног и рук
Растрепался в трепет парный
Губ, всё время пьющих звук;
Чьи капризные (в джаз-банде)
Молодые корки плеч
Нависали о Роланде
Фразы вежливые печь.

28.X. 1927

ДУЭТ

Джурун, дружище, ковыль
В пыли охвостков Колчака.
Пи-ить! – колодцы отравленные
К солончаку от солончака.

Пи-ить! – ветер в осень
Макается дохлятиной.
Хоть бы снег что ли выпал
Срамоту прикрыть.

И снег взялся и пыль впилась
В гнилые тесты тел;
Мороз угнал червей из глаз
И ветер в них свистел.

Сюда, в забытые места,
Въезжает полутруп:
Он хочет жить, он хочет стать
Владельцем масл и круп.

Но вошь погложет новичка,
И сможет смерть поспеть;
Трухлявые окорочка
Развеет ветер в степь.

Гречанка с гречневой косой,
Ты помнишь этих нас?
Они стояли пред тобой:
И пыл взялся и страсть вилась
С жиров бараньих;
И мы смертями отражались
В глазах байроньих.

29.X. 1927

ПРОСЕКА

Из ночи, провороненной с казачкой,
Умытый рассвет молодой весны
Бегал по пешеходу, как зайчик,
Как побежалые цвета. Это – я с ним.

Ещё картавили звёзды;
Уж дворники глотали пыль;
В притравленной крови остро
Колыхались куполов лбы.

Любезный читатель, поверь
В любой писк жизни: глянь
Поверх волос жены, поверх
Заимствований и влияний.

Я, к фонарю прикурнув,
Перекатывал память
На цыпочках подробностей.
Уф,
Ведь можно ж всё эдак испоганить.

Свежий фламандский рассвет,
Отколупнув край пейзажа,
Проспавшейся зеленью своей
Рассветал со мной заживо.

7.II. 1928

В нос пароходу хлещет иодом
И мёдом пыльных трав;
Лежачим воздухам и водам
Он – в спину, как бурав.
Он зарывается в медвежьи
Объятъя тишины,
Лишь отдаваясь в побережьи
Шлепком своей волны.

Отлогий берег не утрачен,
А выполз на пески
И острым парусом рыбачьим
Посолен по-морски.

Луна спешит, кусая воду,
За кузовом людей;
Она трясётся, ищет броду
Листвой своих лучей.

Куда милей, вдали и втайне
От путевой воды,
Озябшее благоуханье
Презрительной звезды.

Я вёл здесь свой невольный след;
Сходился клином свет;
Я брал его на вкус, на цвет
И на товарищей нет.

15.X. 1928

Снег визжит.
Смешался пар дыханий.
Сбежавшее с камей
Лицо, – собственно, губы сами
Наклоняются ко мне.
Промёрзли. Взяв сани,
Едем.

Ну, бродили, ну, полно-те,
Чего печалиться?

Горячо упёршись в полдень,
Летний день как навалится;
Паузами отставая от прибрежных болотец,
Как почнут сигать половые трели лягушек...

Оттепель – душенька –
По ветру колотится;
Угоришь от форточки;
День, будто утро,
Будто на корточках,
Будто...

Она кусает
Травинки ствол,
И ветра волна босая
Будто бренчит листвою.

В развесистом покое,
В подробную ширь
Будто бредут двое
Шершавым полем бывшей ржи.

Не встретиться нам больше,
Ни мне, ни тебе;
Поедем в Болшево
Сами по себе.

Пройдёт сто лет,
Хоть кричи, хоть нет:
Прощай навек
Молодой человек.

25.I. 1929

Проживал в Москве.

Однако,

Отворачивая вид,
Поезд, милый как собака,
Дымом прядая, бежит.

Лакируется июнем
Поле пыльное небес;
Ручейков глазастых слюни
Распускает сиплый лес.

Полон вежливой боязни,
Точно с ветром говорит
Приготовленный для казни
Равномерный габарит.

Не раскуривают неба
Облака. Куда ни кинь –
Заросли сырого хлеба
Щиплет хворая полынь.

Сер взопревший небосклон;
Солнце птицами коптит;
Отдалённость водных лон
Возбуждает аппетит.

Вышел на Хопёр.

Попёр

По песочкам. Головель,
Рыба лёгкая, как вор,
По верху плывёт, как трель.

25.I. 1929

КАНТАТА 2

Сытый голодного подразумевает.

Ночами синими
Сон с тобой, природа.

Море хмуро.

Трюм парохода
Пропах апельсинами
И авантюрой.

Ты бродил по бирже,
Дебитор несчастный,
По набережным сваям
(Ещё более гнилым,
Чем на наших службах)
Ирландии родной.

Пожил, а там и
Наповал.
Заскулят мадамы,
Которых воевал.

Стадо стыдное тащит себя.
Груды дойные бьются меж ног.
Впереди ком бараньих ребят.
Позади молодой пастушок.
В каждом доме горят примуса:
Жёны тщетно готовят еду.
Хладнокровно лежат небеса,
Но за каждым животным идут.

Знаю, как знобит дамоклов
Меч.

Слышу, как висит, замолкнув,
Речь.

С востока пёрла голова.
Стрелок смотрел на узкий колер:
– Живёт вода, течёт трава; –
Он сухо пожимал рево́львер.

Я знавал этого кретина:
Он испортил мне несколько
Минут жизни. Скотина,
Мыкающаяся бёз толку.

Что касается меня,
Которому смотреть боязно,
Как распадается луна
Да бегают ветер по звёздам,
К чорту, что щёки впалы,
Ценней второе:
В верное время попал я
Жить на здоровье.

26.I. 1929

ТЕМА ИЗ ПРЕДЫДУЩЕЙ КАНТАТЫ

Родимый бугор острова
И пальма под увесистым заливом
– Детских лет высоченные друзья.

Хороши они были
Вечерами с милой
Давным давно.

Вправо от его дома,
Как пройдёшь колодец,
Горы, которую любил,
Нет! – закат бьёт в глаза.

26.I. 1929

СЕЛЬСКАЯ ИДИЛЛИЯ

Приседает река под ветром:
Мутная; рассветным; летним.
Семнадцать. В окне за ситцевой
Занавеской. Не спится ей.

Говорил: – «Наташа,
Вопрос, вот в чём дело:
Ты мне всех краше
С лица, – с тела».

Крепким шёпотом Ванюши
Кровь душит уши.
Всю измял милый. Жжёны губы.
– Будто в ветвях дуба.

Лес хмурит брови.
Рассвет протирает глаза.
Парень без картуза.
Курчав. Махровый.

Запоминает, холодея:
Вкус ослабленных губ;
Мозолистые корочки грудей;
Ноги, стиснутые как зубы.

Сажёнками будит немую
Утреннюю волну.

Наташа улыбается ему
Прибираясь ко сну.

3.II. 1929

СВИДАНЬЕ

Многим неизвестна
Иноходь:
Будто лампа сдвинута
С насиженного места.

Смуглые кусты жасмина
Запахами шевéляются.
Ликують, из ушей вынесшись,
Мошкары флажолетные тельца.

- «Не видались столько лет».
- «Не увидимся, то-есть».
- «Расстели плед».
- «Не беспокойтесь».

Внутренность реки тронута
Увёртливой рябью рыбы.
Перистыми, чуть видными, стройными
Облаками, точно мыслями, небо взрыто.

9.III. 1929

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

В солнечном сияньи
Ко мне наклоняется
Миндальный, желанный,
Милый овал лица.

В ресницах взгляды,
Как в некошеной траве
Весёлые козявки.

Стрекозой бровей
Поддерживается улыбка.

Запах от красавицы
Свежий, зыбкий.

Оч-чень нравится.

10.III. 1929

ПРОГУЛКА

Река соловееет
От дождей:
О соловьях, о соловье
Деревья над ней.

Вдруг чистым закатом
Вечер врезывается,
Компрессный, ватный,
С гравюрной трезвостью.

Дерево, под которым я,
Кору сырую, ветви,
Мокрую свою шевелюру
Благовоньем проветривает,
Шевéлит, раскуривает.

Вечер, под которым я,
Перезрелым румянцем
С колыбелью заката нянчится;
С далей, заоравших светом, ломких
Сымает парные пелёнки.

Виды горят мрачно,
Пейзажи покрашены,
Ландшафт горячий:
– Очень страшно.

В ясные ночи
Соловьиные солы
Станут потчевать
Речное олово.

В лодках мы поедem,
Под ручки пойдём
Со своими ледями
Вдвоём.

III. 1929

ВОСПОМИНАНЬЕ

Луна высокая, злая,
Занесённая, как взгляд,
Как маленькая грудь,
Как звон в ухе.

Звёзды сүхи,
Как ежедневный труд,
Разбитый на рефлексы.

«Анадысь... летось...»

Ну, что там такое было?
«Вот чего было. Любила.
И я её при луне с...»
Пошёл к чертям! Не лезь.

III. 1929

ВЕЧЕРНЕЕ КУПАНЬЕ

Чёрная река.
Сосновый лес.
Парни с воды перекликаются.
В вѣтлах женский плеск.

Ржавый бережок.
Глина. Песок. Травка.
В воде хорошо:
Галдят, крикают.

Вечер тих
Под песней казака,
Как стихи,
Как закат.

Плыву, колочу
Воду лёгкую...
«Лодку, чучелы!
Эй, лодку!»

«Кавалеры, плюньте,
Вплавь, айда!»
Месяц, бледным лютиком,
Облака бодает.

С живота на спинку,
В глушь от говору:
Как со спиннингом
По небу: вот, здорово!

Продеваюсь в штаны,
Сумерки.
В прохладной траве
Много тишины:
Будто кто проехал
Или умер.

26.III. 1929

ЗНАКОМСТВО

Блузка на ней, что ялик,
Что речка с облаком.
Лукавством óблитая,
Глазки пялит.

Хохочет. Брызжется.
Прыгает по камушкам.
Загорелая, как рыжая.
Анюта. Аннушка.

Что за дьявольщина! –
Платье скинула,
Визжит, плавает уж
В реке синей.

Выскочила: «Не смотрите!»
Да как же тут не смотреть-то?
– Смотрю. Хоть смертью
Грози. Ну, и прыть!

Душенька. Влюблён.
По самое сердце.
Хохочет девчонка:
Не сердится.

26.III. 1929

КАНТАТА 3 (ЧЕТВЕРЫМ)

1

Нам восемьдесят:
До игрушек ли?
До книг ли?

Экзамены? –
Можно осенью сдать!

Заново
Друг к дружке
Никнем.

2

Весна. Нет её:
К вечеру хрустит вода;
Деревьев гнемые скелеты
Воздух бодают;
Месяца лепесток
– Один на все ветви –
Хозяйство трогает,
Точно ветер,
Точно Лев Толстой
В вегетарианской пуще: –
Посконный, что холст.

«Брунгильда, вы ещё толстая!»
«А вы, – худущий».

В саду на скамейке.
Влюблены. Не до весны нам:
Усатый куст не смеет
Не цвести жасмином.

3

Лето. Лагеря. Лёгкое
Утро. Поле. Я – на корточки:
Костистых чертополохов
Прохладные мордочки;
Колокольчиков
Выгиб змеиный;
Дальше – больше: –
– Служба отодвинута.

4

На поезд – и во власти
Шести глаз.
Зелень. Власьиха.
И та же власть.

Небо в кружеве, кудрявое,
До пены намылено.
Кругом – гуд трав.
Просёлок пылен.

Как под колокол,
Крутой, душный лес.
Упавшим облаком
Пруда блеск.

В воде плещемся,
Отводя глаза,
В которые пролезают
Исподние вещи.

Костёр. Сварена каша:
В животы спроважена.
Мунька! Спит, кажется?
Я – рядышком. Эка важность!

5

Снег напал
На землю, на падаль.
Громкий ветер треплет уши
Остановленных теплушек.

С фронта тянутся во вшах
Удальцы – бессмертники.
С топливом прескверно:
Остановка через шаг.

Тёмные глаза. Личико
Индейской красоты.
На морозе не простынет:
Целуется до неприличья.

В Москву меж сал и круп
Привозим мужской труп.
Ни в памяти поцелуев нет,
Ни трупа даже в сне.

6

Полезно жирное питанье
Средь сахара и жмыха.
Румянец гонит на свиданье,
Улыбкой радости маша.

«Мавка! – (что по воде камушком,
Насквозь волненьем промочено), –
– Пойдёмте за меня замуж,
Вы мне очень, очень...»

3.IV. 1929

МИЛОВИД (БЕЛЬВЮ)

Приложение к «Живописному обозрению»

Многоуважаемый Генрих Руссо,
На меня смотрят твои картины.

Малокровная лошадка,
Здрав насмешливую голову,
Дерётся с длинным леопардом
Средь вымышленной, равнодушно кипящей
Роскоши джунглей.

Сударь Аполлинэр
Ведёт девицу Лоренсан
В семейные бани.
Лица цветочков потупились.
Ветерок освежает поэта
После сытной еды.
Птичка со страху
Чуть было не выпустила
Переваренную пищу
На волоса́ маститой музы:
(Вот было́ бы потехи!)

Через казарменный забор лезет
Некультурный океан природы:
Бросая пытливый, воровской взгляд
Подноготным, тропическим уголкам,
Где он вечером разговееется-таки, —
Алжирский сержант
Улещивает дородную тётеньку
Колониальными комплиментами,
От которых коляска с младенцем
Катится всё машинальней и медленней:
«Ах, вы шалуниш-ка!»
«У-ух ка-кетка!!»

Прожорливый, задыхающийся паровоз,
– Атавизм девятнадцатого века, –
Волочит гремучий хвост;
Пароходишка запузыривает
По сырой, купальной воде;
Ливерный, неуклюжий цеппелин
Тяжеловесно обманывает воздух;
Аэроплан изящно пасёт
Сконденсированные табуны сил.
Окрестность набухшая, что опара,
Заветней, чем пах,
Раскидывается просторным,
До злости зелёным ферматом.

6.IV. 1929

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

1

Солнце порхает по галёрке.
Головка зала, налитая оркестром,
Обличилась электричеством.

Похотливо демонстрируется эксгибиционизм
Чайковского.

Контрабасы – заплечных дел мастера, –
Брюзжа, выдаивают воловьи жилы.

Молодчики с вывихнутыми шеями
Беспощадно онанируют пищащие тельца.

Выползают и копошатся в клубке
Черви виолончелей и альтóв.

Заплёванные флейты отыскивают укромные уголки
Для отправления естественной надобности.

Обсосанные, гундосые гобои
Развратно предлагают услуги.

Английский рожок, изредка излагая впечатленья,
Старается расхлебать заваренную кашу,
Сдобренную сливочными голосами кларнетов.

Фагот задумчиво и ворчливо чревовещает,
Сообщая, собственно, своему соседу – не к делу
относящееся:
– «Эх, Кларней Гобоич, опять Вы»...

Медь – в паузах – торопливо выливает под себя
Слюни, напущенные в звучные кишки.

Апоплексически надувается туба,
Сжавшая игрока удавьей хваткой.

Тромбоны конвульсивно отмеривают
Волосатые, задние звуки.

Валторны андрогинами воркуют,
Щекоча, доводят оркестр до оргазма.

Трубы хладнокровно сдирают шкуру
С подопревших тактов партитуры.

Шайка-лейка хулиганских корнет-а-пистонов
Похабно задирает подол встречной арфе,
Которая притворно рыдает,
По-вдовьи радуясь учинённому бесчинству.

Смачно рыгают буржуйные пузы,
Внимательно выслушиваемые литавристом.

Булькает, кудахчет, волнуется
Вкусное сердцебиенье ксилофонов.

Триангль иль исподволь позванивает,
Как доехавший до отказа ремингтон,
Иль пуцает высокую трамвайную струю трели.

Большой турецкий инвалид
Выпячивает мозолистое бельмо,
Юродствуя: «Вдарь, вдарь, вдарь!?»
– «И вдарю». – «А ещё?» – «И ещё».

Маленький барабанчик рвёт зубами полотно
Иль шепчет, пробираясь горячими ушными каплями.

Там-там – апокалиптическим зверем –
Вцепляется в горло каждому «струменту».

Воспалённое дребезжанье тарелок
Завершает совокупленья звуков.

Сам себе зубы заговаривает
Раздосадованный рояль.

Григорий Пирогов, разбитной что банщик,
Благочестиво блюёт и портит воздух
Искренними экскрементами лошадиного вокализма.

Конфиденциально молчит орган,
Укутанный в пустые меха.

Паралично и экспансивно дрыгается дирижёр,
Пытаясь символической мимикой разоблачить автора.

Публика уныло наблюдает
За происходящим безобразием.

2
Дирижёр вползает, как огонь,
И в просторном дыме внезапной тишины
Колелется по залу, рябит в глазах,
Поджигает оркестр, хватает под уздцы
Разъярённую сюиту Баха.

Голос каждого инструмента
Доверчиво любит существованьем.
Дружески сплетаются звуки,
Вознося стройное зданье.

Каждый кусок синтетичен
И на слуху́, как на поводу́,
Ведёт к любому воспоминанью,
К любой точной эмоции.

Ты будешь жить. Я умру.
Мы перестанем существовать.
Не грусти. Это – грустно,
Но это – участь и твоя.

Милой, как родимое пятно,
Той, что тебе вкусна,
И плачет от твоего письма,
– Точно с ней с одной, –
Не повторяй никогда,
Что ты её... умрёшь,
Она заснёт, отгадает,
Как её не любишь ни крошечки.

И прохладный твой, твой бромо-серебряный,
Твой засиженный мухами... «Дальше?»
... Она наверно нервная,
Сердце, лёгкие... «Даже,
Даже, если б это было и так:
Ты умрёшь. Я поживу.
Мы перестанем суще...»

19.IV. 1929

ПЕСНЯ

Как все художники на всём свете,
Озираюсь в тёмном ещё рассвете.

Пришёл недавно домой; чаю по́пил;
Сажу за столом; сонен, тёпел.

В окно, как из воды, появляются дома
Свет проступает бумажный, матовый.

Думаю о злодеях: некоторые злодеи
Вовсе даже и не похожи на людей, –
А и для них над лугом восходит облако,
И рама гоняется солнцем по́ полу.

До чего ж несправедливо. Ух, ты, добродетель.
Действительно. Никто тебя не приметил.

А по́ лесу я летним днём пройду́сь,
Заклучу с вкусной де́вицей половой союз,
Звёзд с неба полные глаза нахватаю...

Эх, мать честная, – здо́рово светает.

2.V. 1929

Искусства и науки отверг:
Теперь они, как гири.
Дела нет до немислимой лирики,
До внутриатомной энергии.

Сызнова необыкновенно
Ощущенье силы.
Обнаруживаются постепенно
Жилы да голос сильный.

Существованье пополам
Раздвинуто в стихиях сном:
Осталось завладеть двумя –
Землёй да огнём.

Схвачена упругая вода;
Пойман продувной воздух;
Как никогда, –
Близки звёзды.

Девочка больная, в жару,
Красна, точно стыдно ей.
«Прости, если»... – глазами ору... –
«Сказал что, сделал когда – обидное».

IV–V. 1929

ИВАНУ ПУЛЬКИНУ

Что ж ты, друг:
Отписался посвящением?
Да так вдруг
Ко мне нейдёшь,
Дома не сидишь,
По телефону не звонишь!?

Небось, Котище, шляешься где-нибудь?
Валишь, как из трубы, как облака?*

{*Отстают от крыш
Легко, как взгляд;
На мой взгляд
Имитируют земли вращенье.}

Как так?
Очень просто:
Точь в точь,
Как в твоих стихах.

*

Может быть тебя нюхают цветы и насекомые,
Чтоб через год-другой ещё нежней быть,
Ещё крепче нестись по миру,
Выпадая свежей росой на точные рукописи
Стихов, проз, проектов и конструкций?

*

А девчонок-то сколько?
Да каждая идёт:
– Нуль презренья; фунт вниманья –
Чтоб заметил ты свою любовь к ней.
Пофыркает, пофыркает
(Ну, пофыркай, пофыркай...
Отчего ж не пофыркать?)
А потом, как врежется?!..
Замечательно.

20.VIII. 1929

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Д.М. Струковой

*

Не требуется запрещать по ночам
Паровозных гудков,
Что развозят воображенья
По Елифаням, Харьковым, Джанкоям, Туапсам
и Архангельскам;

Ни распахнутых окон,
Что заносчиво выходят
На море, на небо, на кусок дали иль на зелень веток,
Лезущих им в рот, щекочущих ресницы;
Ни тебя ни на день ни навеки:
Всё равно слышна внутри,
В крови переливаешься, дышишься,
По мыслям – как по мураве – :
Где ступишь, – я по следу,
Остановилась где, – целую,
Присела, прилегла, повалилась – и я, и я.

*

Смотри не умри, живи.
Куда как вкусно
Распространяться в любви
Письменно и устно.

Молодик обдаст нас
Тощей песней:
Ясно –
Ровесник.

Солнца тяжёлый свет
– Бархат –
Перепархивает
Отовсюду, ото всех.

Пройдёшь, глянешь мимо —
Приспособишь
К себе, то бишь,
К любимой.

Льнёт всё живое;
Живые сами;
Ничего́ себе:
До́ смерти на память.

23.VIII. 1929

ВСТРЕЧА

Т.

Не виделись мы с тобой
Месяца три-четыре.
Разлука сделала
Это время ещё шире.

Вещи, люди, облака
Пытались строить перспективы.
И, как многие полагают,
Получалось довольно не противно,
А по-моему нелепо
И совершенно случайно
Каждый день раздувалось небо
Разнообразными лучами.

Довольно. Опять во всём моём свете
Запах, тобой слоёный
В ноздри летит с косметики,
С лица, с платья, с ладоней.
Опять вижу: загорела, похудела,
Под глазами светлые веснушки;
Опять сидишь на меня смотришь,
Глазами всплеснувши.

Опять погода, как ты, – свежая,
Как я, – торжествуя,
Послушно с деревьев свешивает
Утомлённую листву.

9.IX. 1929

УРОК КОНТРАПУНКТА

Иллюстрация к «Музыкальному обозрению»

Породистая мелодия до́бит
Любую мысль,
Как вираж на тонком слое
Потенциальной эмульсии.

Смотрю на мир,
Который – которым
Мной – я
Живёт – живу.

Так же, как от девок, сознательно эксплуатирующих
своё сырьё,
Дающих стервецам на краю опасности
венерического заболевания, –
– До жён в стойлах;

Так же, как далёкой конницей по камням
Скачет звон ключа в замкѣ
(Ручейки в замке) –
– Поворот, поворот – и скрылась за последним;

– Улица легóнько отрыгивает
Развесистого, как слюни, хулигана.
Соединенье трусости с озорством
Надавало ему по морде и по шее.

Трогают его аль нет,
Заходит он вонять
В вегетарьянские столовые.

Потный взгляд его
(Тот самый в который, в рыбий)

Оскорбителен и нерационален,
Как две плевательницы рядом.

Он возводится в степень вышибалы, банщика,
маркёра, крупье, гинеколога
И Дон-Жуана.

26.IX. 1929

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Разверзлись хляби
В половом масштабе.
Глянул в окно: ночь уж.
Ну, брат, прости:
Считаю вполне законным...
... То-есть, хочешь не хочешь,
– А надо зайти к знакомым
Вечерок провести.

Здрассьте, банжур, хаудуйуду́,
Шёл мимо, дай, думаю, зайду,
Куда, через кого, как пристроились.

Ну, и пошёл разговор.
В общем, квипрокво, кто про кого,
А уж отсутствующим не поздоровилось.

Сытенькая. Торчит на здоровье.
Как незаспанный уголок подушки.
Вкусным-вкусна. Тёплые брови.
Маленькие ушки.

26.IX. 1929

М.И. БАБАНОВОЙ

«И тут вылили на неё ведро с Райх»

Одно из лучших (по Баху
– Бегство в ля-минор)
Крутое личко
Внимательно отклонено
Мыслям собеседника,
Встречным,
Будто по́ морю (сиверко, седенько)
Парусок, наполненный ветром.

(В Австралию перец – [Пулькину – фаршированный],
В Бразилию чай – [мне – покрепче],
В СССР машины – [Аксу – пепельницу]).

Невозможно, немислимо в лисьих
Хитростях. Не пророню говоришь? – Пророню!:
Коль вижу: от пшённой на вороную
Да на две лысых
И в длину и в ширину и!..
Симпатия прошевелилась.

Коль слышу: единственной в мире
Речью легкой, пологой, ловкой
Надменно оттопыривается
Незабвенная Ваша головка.

И на лоне природы
(Которой у каждого,
Хоть отбавляй, хоть нет)
Одной мы породы
И даже
День ото дня – однёй.

25.XI. 1929

ЖИВАЯ КАРТИНА

Мы все проходим сквозь
Слишком изъяснимую гибель хандры,
Друзей, сердец и мн. др.
Братишка, елозь не елозь,
А положенье безнадежно,
Не описать словами,
Сколько в ём риску:
Впору камфору впрыскивать
Паллиативу существованья.

*

Удивительно и неосторожно
Рассвет, масляный что селезень,
Расползается дуновеньем колючим.
Хмуρο заигрывает зелень
С обрастающими благополучьем.

Но во всю глотку небеса звездарезнули
По маленькой земле, где табак, тьма, зелень, левкой,
На встречонку социальнополезную:
Дык: штэрншнэйдензи ро ma-legn-koi!

*

Куда, сударь, изволите
В должность ходить?
Я? – (туда – сюда) –
Был в ней в Ленинграде:
Если позволите!?:

Деревья сдержаны
Высокой широтой.
С удалью небрежной
Босоногий верховой

Несётся к набережной.
Очумел что ль, вздумал
Несуразное: с трамплина
Через Неву сигануть
На Васильев остров;
Иль выехал спрехвала
Паренёк попоить коня.

Гвардейская инкрустация фронтонов
Корчит исторические мины,
Но говорит за себя тем, что она
Не халтурна и современна.

Чухонские укусные псы
(Куусинен – укуси-меня)
Коробятся перетянутыми мордами.

Я б дожил тут без оплеух,
Надóванных купцам и дегустаторам
Елагиных мостов и островов.

Уютный и широкий пейзаж,
В корне противореча рассейской лени,
Адекватен русской культуре:
Не щаным козлом да вшивой редькой воняет,
А Радищевым, Пушкиным, Герценом да Лениным –
Благоухает.

23.V. 1930

II

I

Своим возлюбленным пренебрегла,
Со мной гулять пошла, как стерва. Стерве
Пришёлся в двух словах, и – к ней приклад
Губ. Выползали дождевые черви.
Поблизости потел затёкший пруд
Как репетиция для пьесы в сукнах,
Здесь лишним было то, что, в тело стукнув,
Припоминалась ты. Напрасный труд!
Не увлекай примниться мне, синьора:
Здесь всё – не то, и плач и даже визг;
Попробуй, до смерти да проживись,
Хоть раз всем мясом щекоча свой норов.
Здесь всё – не то. Ты выбилась из сил.
Бледнеешь издали уж. Ночи мякоть
Набухла жарким телом, ртом, и – на, хоть
Всё – допусти, всё – хоть произнеси.

Дыши-дышьмя широкой влагой жира,
Земли да тени. Раскрывайся шире.
Не рассекая жизнь рядами секций,
Стучись до тла последней кровью сердца.

Когда пошёл, помолодев в уроне,
Я знал: она заботой провожает.
Ни ум, ни выпренность моих ироний
Не провели победы кровожадной.

II

После со мной объятий всех,
Всем мясом, как захолодавшим салом,
В меня ты, даже в самом малом,
Даже во мне и там вглуби засев.

Ведь матрицированный ужас
Не требует повторного набора:
Сотый, как первый он; сию же
Секунду мрёт сердечная аорта,
Меня всей кровью обуяв,
Как зверя, скукой, тоскотой; и заново
С того же начинаю самого,
Почти забытого, что ты – моя;
Что ты – моя, что, вопреки
Снятому ужасу, ты – не с руки,
Что рот твой тянется ко рту,
Что руки тяжестью текут, как ртуть.

Но ты пошла: стихи, роман
Укладываются в напеве поступи...

И снова жизнь, как хиромант,
В ладонь мне вглядывается. О, господи!

III

Противная, как гусеница, самка
Прыщавым взглядом проволокла
За юбкой, за дверь. Там, как партизанка
Быстра в расправе; как около клада
Секунду выпустить боясь, судорожно
Впилась в меня, а я по темноте
Ответил, как сумел, как в лесу́ дрожа
От прихоти иль страха, на все те
Откровенные липкие пожатья.

Ни васильки не вспомнились, ни снег,
Когда вплотную мы, вшитые гладью,
Не губы в губы, а десна к десне
Пропитывались друг другом: каракули
Необходимых слов осипшей глоткой

Прокаркивали. Ах, в каком оракуле
Налжётся встреча с эдакой молодкой?

А снег в саду сосновом после плыл;
Взрыхлённый месяцем сосновым, после плыл;
По веткам-лапам прежние зазнобы
Качались ветром, плакали с озноба,
После плыли...

1923

* * *

Трёх недель не прожила.
Утром дочка умерла.
Бедный крохотный зверок,
Жизнь тебе не вышла впрок.
В морг свезли. Разъяли труп
Синева похожих губ
Преспокойно, как любовь
Припекла родную кровь.

Комнат тёплую тюрьму
Наполняет жизнь моя,
И не знаю, почему
Так печальна смерть твоя.

Ночь, как зверь. Осенний хрип,
Покрывая шорох мой,
Плещет слизью сонных рыб.

Спи, малышка. Смерть с тобой.

Х. 1926

ПОВЕНЕЦКИЙ СОВХОЗ

Болото, чахлая сосна,
Осины, хлипкий мох...
Кой-где трава: едва видна
Как слабый вздох.
Вода, – жива и глубока
Паденьем тыщ водиц, –
Сочится в вязкие бока
Своих границ.

В навал – валун на валуне:
Пейзаж к холму приник;
Когда-то в прапрастарине
Здесь полз ледник.
Сыпучей лысиной песок
С холмов бежит туда,
Где как слюда, как мёртвый ток
Опять вода.

Широко властвует семья
Туманов, мхов, камней:
Не лёгок воздух, а земля
Ещё трудней.
Нога уходит по бедро
В трясины гиблых мест...
Ворона, уронив перо,
Орёт окрест.

И цепь холмов и сеть болот
Пусты из века в век...
Но в час наставший к ним идёт
Тот человек,
Который горд не тем, что жив,
Что всех вокруг лютей,

Но тем, что может в коллектив
Спать людей.

Недавний вор, басмач, кулак,
Грабитель и бандит
Жизнь новую, за шагом шаг,
В труде творит.
Болота нет! Кругом краса:
Жнут, сеют, боронят...
Здесь даже соболь и лиса
Плодят щенят.

Здесь вырастет, растёт и рос
До крыши от крыльца
Животноводческий совхоз
Близ Повенца.
Здесь вырастет, растёт и рос
От пяток до лица
Тот, кто трудиться шёл в совхоз
Близ Повенца.

VI. 1934

ПОСЛАНИЕ А.П. КВЯТКОВСКОМУ

2

Разужусь-ка я плечём,
Размахнусь-ка внутренностями
С Александром Павлычём
Поделиться внутренностями,
Всякими там квипрокво,
Мелкой ежедневностью...
В общем: кто, когда, кого –
Изложу с безгневностью.

Вот так тема! Это – да:
Прочим темам темища!
В особенности, когда
В этой теме – темища.

В мутной тьмненькой воде
Лов пригож в особенности
Коли мысли на уде
О соседской собственности.

Жил на свете молодой
Человек с младенчества*,
А потом попал (ой, ой, ой!)
В подлое треньбреньчество**.

В тоге той ему тепло –
К чорту околичности! –
Рядом, как Нинон Ланкло,
В полной неприличности:
Ну, помойное ведро,

* *ей, богу!*

** *как в тогу.*

Всякие там нужности,
В общем – всё, что так хитро
Скрылось до замужности.

И живет тако́ дитё
В неприкосновенности
До тех пор, пока житьё
Не коснётся тленности.

А коснулось, – так идёт
Он в такие ведомости,
Где ведётся тайный счёт
Питьемости, ёдомости:
Кто да что пропил-проел,
Где тут квинтэссенция,
Ежели пострел поспел
Для аудиенции.

Ох, любезный Павлови́ч,
Едьте к нам не медлите:
Мы такой устроим клич,
Что замертвопетлите.

Так вот каждый день живём
Мы с утрéчка до́ ночи,
Бережа соседский дом
От вихров до онучей.

Не судите, милый друг,
Умственного опиума,
А то как мы: – сразу, вдруг
Заедете в топи ума.

Засосёт нас, ей-бо-пра,
С лысин до конечностей

Эдакая кви-кво-пра
От доенья млечностей.

3

От чортов на рогов
Не долго нам скитаться,
А впрочем я готов
К пожатиям матраца.

Там несколько клопов
И прочих насекомых
Кусают экс-богов
И наших незнакомых.

Ум ясен, светел, как
Мильоны Арионов,
И это всё пустяк
Под блеском лампионов.

Всё это чепуха,
Которая безмерна,
С которой ни стиха
Не выпишешь наверно.

Я нынче не того,
Не очень я на стеньге,
И мне, бишь, ничего
Все эти дребеденьги.

А в общем ты прости
Мои лихие ноты
И на своём пути
Забудь свои заботы.

Тебе, товарищ Александр,
В десницу лавр иль палисандр,
А мне, по малости моей,
Дай, Марксе, хрен аль сельдерей:
Чтоб дальнейшее описать,
Ими надобно помавать.

Не было тебе причин
С Медвежки скакати:
К навёрстыванью лысин
Тут многое кстати.

Не сеем мы, ах, не жнём,
Не сыти бываем
Частенько порожняком
Дома обитаем.

Зато для услад души
Гора утех ладных:
Тут (просто, хоть не пиши!)
Нету вовсе гладных.

Службы в дружбы, блат не в труд,
Нет порки в помине,
В весельи проводит люд
Жизнь како в картине.

Ну, там про что же ишшо́
Мне простирать пенье:
Уй, Господи, хорошо,
Совсем развлеченье.

По расписанью песнопенья
Настал теперь и мой черёд
Лирического отступленья
Пуцать цветистый огнемёт.

Ну, что ж? Начать седым вопросом,
Что есть лирическое? Иль
Ударить взглядом по откосам,
Страхнув коварной темы пыль?

Никто бы тут не раскумекал,
Как лучше поступить. Увы!
Рой пиитических молекул
Не ценит лысой головы.

Цветы пленяли нас в июне,
В июле воды и леса,
А нынче дождевые слюни
Разбрызгивают небеса.

Сидим, прохладные, в конурах,
В калошах бродим по грязи
И, хмурые, о прочих хмурых
Сипим: «Э, чорт их разрази!»

С шести до двух рычат свирепо
Со стенок чёрные блины:
От них и головы – как репа,
И бездны чувств оскорблены.

Под этот гвалт осточертевший
Нередко поминаем Вас,
К кому ни конный и ни пеший
Не собирается от нас.

Так, может, Вы в командировку
К нам соберётесь (в отпуск? в блат?)
На дружескую перековку,
На мыслеблещущий парад.

З.к.лючение

Зачем рокотали Перуны?
Зачем погибали миры?
– Наверно, чтоб вещие струны
Звенели с Медвежьей горы.

Зачем неизбежностью икса
Наполнена вечности тьма?
Наверно, чтоб ропщущий свыкся
С бездонным безумьем ума.

Зачем непригодность гипербол
Исторгнута горлом наук?
Наверно, чтоб здесь изувер был,
Неверящий в плен и в испуг.

Зачем обаяньем гипотез
Вседневность заморожена?
Наверно, чтоб ей озаботясь,
Ты видел, что бездна без дна.

Зачем этой жизненной спазмой,
Подобной «омега»-лучу
Какой-то там проктофантазмост
Похлопывает по плечу?

Наверно, наверно, наверно,
Чтоб ты ощутил себя, чтоб
Твоих злоключений каверна
Тебя не ударила в лоб.

Что ж Вам, милый Александр,
Сказать в заключенье
Коль автор и адресат
Ещё в заключеньи.

Правда, скоро кончен срок
Насильной отправки:
Оканчиваем урок
Своей переплавки.

Скоро, скоро отлетим
В края весьма разны,
И воспоминаний дым
Останется праздный.

Пусть же в Вас живет во век
Лучшее из лучших,
Ибо каждый человек
Не искушён в путчах.

Пусть их, путчи, где-нибудь
Пучат сон правительств,
Пока неизвестен путь
Наших местожительств.

Постараемся вполне
Оправдать доверье,
Ни на яву ни во сне
Не рассыпать перья,

Аки бисер перед сви...
Ну, и перед прочим.
А в общем, друже, живи
На пользу рабочим.

Поминай кой-когда нас,
А лучше почаще;
Пей водку, а лучше – квас,
От жажды поящий.

Квас полезней, ибо он
Вина много жиже:
С ним не будешь знать препон
В современной жиже.

Итак, до свиданья мой друг Александр,
До скорого, надо надеяться.
Чего ж пожелать вам, чего, коль и сам
Не знаю, что жнётся, что сеется?

Желаю Вам счастья, желаний, удач
Всего, чего только Вам хочется...
Теперь остаётся вписать на поднач
Фамилию имя и отчество.

Г.Оболдуев

P.S.

Да здравствует наше отечество и мн.
Другое подобновеликое,
Чему произносим мы яростный гимн,
Крича, восклицая и кликая.

1937

ОРАТОРИЯ НА КАЖУЩЕЕСЯ ОТСУТСТВИЕ ПИСЕМ ОТ ДАЛЕКОЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

Вы, душенька, почему ж
Не пишете? Собственно,
Муж я вам или не муж,
А горохом об стену?

Не забыли ль впопыхах
Наше имя-отчество,
Нежность нашу к вам и... ах!..
Наше одиночество?

Думаете ль иногда
В столичной трескучести,
Что вас очень ждут сюда
Люди дальней участи?

Подумываете ль, хоть*
Разволшебным манием,
Хоть ненадолго сменить
Росстани свиданием?

Не подумываете ль
Что без вашей милости
Холодна наша постель:
Впору на печь вылезти?

Не желаете ль подчас
Просто для беспечности
Перед сном погреть об нас
Прохладны конечности?

* *хыть.*

Помните ль вы, – очаров-
Ательненьки, ясеньки, –
О ласкании коров
И о рыбьем дансинге?

Вспоминаете ль листву
Ароматной горечи
И с пейзажем в рандеву
Живописцев очередь?

Не кажется ль вам как мне,
Будто, – заколдована
На осенней тишине
Листьями медовыми, –

Пара в парке всё бредёт,
– Кавалер да барышня – :
Тянет им глазастый плод
Розовый боярышник,
Солнца луч на тихий пруд
Стелется сквозь заросли;
– А они идут, плывут
Бережно, как парусник...

... Вы, конечно, свинопферд
Из адской коллекции,
Сомневаюсь, есть ли серд-
Це в вашей комплектции.

20.X. 1938

1

Осколки музыки, как зарницы в голове,
Немножко позади мыслей,
Которые не прерывают своего упрямого, непрерывного,
наполовину бессмысленного, питаемого чорт знает чем
Шевеленья, перевариванья, топтанья.

Мелодия бредёт свежо и вольно,
Зараз и далеко и близко,
Как линия гор на рассветном небе:
Изящна и легка,
Покоится она
На внимательной, глубокой гармонии,
Как очертанья гор на всём своём массиве.

И пресные, тяжёлые мысли
Пытаются сохранить человеческое достоинство
Рядом с этой аэмоциональной прелестью.

Шалишь, паскудницы!
Полнейшее фиаско!

Вы отвратительны, как свежий результат пищеваренья,
Шибаящий по ноздрям и глазам.

Переваренная любовь.
Любовные письма, использованные на подтирку
сердечной памяти.

Человек – это звучит – подло.

Серый и солнечный день.

Мы пробираемся по сугробам зелени к речке;
 Что слышна;
 Что внизу;
 Что кусочками видна вдалеке,
 Кишащая быстрыми брёвнами сосен.
 Нам с горы ещё открыта
 Распахнутая вдаль и вверх
 Теснина того берега,
 Оскаленная промоинами и валунами.

Мы отталкиваем остатние пригорки лесного мха,
 Отрывающегося на прибрежный, тугой и бледный
 песочек.

По брёвнам, отставшим и тлеющим на берегу,
 По самодельному завалу их на отмели,
 Глубоко вгрызшейся в кипучее тельце речушки,
 Мы допрыгиваем до сáмой быстрины;
 Её можно тронуть рукой;
 Она ежесекундно пугает
 Мчащимися, брякающимися сразмаху
 чуть не об ноги,
 Неуклюже поворачивающимися с боку на бок
 Огромными вблизи стволами сплавного леса.

Прыгай в воду смелей и отдайся теченью:
 Сразу станут ручными стволы;
 Будут словно извиняться за каждое прикосновенье
 к тебе.

А попробуй постоять немножко,
 Уцепившись за протянутые с берега голые руки
 корней:

С ног свалит тяжёлая бомбардировка
 оголтелой лавины.

Но мы не в воде.
Мы на брёвнах.
Мы таем от солнца, от неба, от нежности.

Ты плещешься в тихом заливчике.
Под мышкой отмели.
Ты сердисься на курьерские волны,
Слегка хлеснувшие тебя
Чуть не живым деревянным аллигатором.
Ты, морщась, косишься и изгибаешься,
Стараясь разглядеть небольшой синяк на бедре.
Ты подходишь ко мне.
Ты говоришь: «теперь рак будет».
Я говорю, целуя ушиб:
«И проказа, и холера, и чума...»

Ты ложишься рядом,
Прижимаешься ко мне
Мокрым и холодным боком
Ты вздыхаешь глубоко,
По-ребячьи,
Будто тормозя.
Ты, зажмурясь, закидываешь голову под солнце;
Ты стыдливо
(Может быть тоже от солнца?)
Закрываешь ладонями голые груди.

И ты успокаиваешься –
Под немолчное, суетливое волнение воды,
Под ясное небо
С застывшими, безмолвными взрывами облаков,
Под любовь мою,
Затянутую над тобой неразрывным узлом.

3

Может быть, нужен кому-нибудь вопль
Исступленья, отчаянья, боли?

Может быть в мире никто не знаком с парадоксом
Сердца, смотрящего в сердце, как сон?

Может быть. Мне – не решать. Я – свидетель:
Жалкий и жалобный ком, пульс человеческой драмы.

Где тут – слова выбирать? Где тут – прикрашивать
фразы?

Больно, и только больней от мгновенья к мгновенью.

Я – человек. Она – человек. Вот и всё.

X-XII. 1939

Приложения

Ю. Созм

А.С. ПУШКИН

Краткая памятка о творчестве

Рис. Ю. Купрянова



1

В феврале 1937 г. исполняется столетие со дня смерти гениального русского поэта А.С. Пушкина.

Пушкин огромное положительное явление русской действительности. Сейчас по всему СССР интерес к Пушкину возрос чрезвычайно: произведения его тщательно изучаются, прорабатываются, популяризуются, переиздаются в миллионных тиражах.

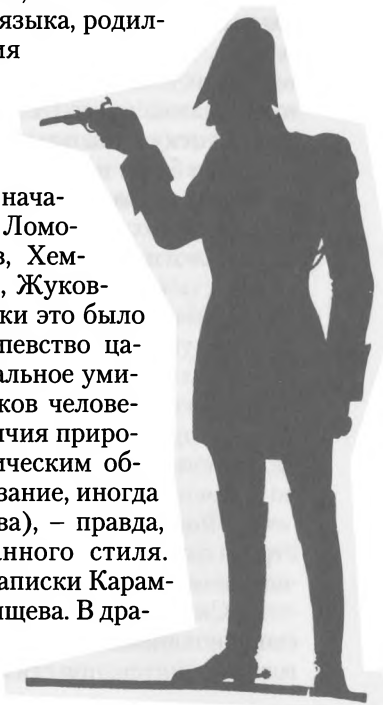
«Подготовка к пушкинским дням приобретает действительно всенародный характер. Пушкин близок миллионам людей в советской стране, и этим подтверждается глубоко народный, подлинно национальный смысл его творчества.

Пушкин потому и стал создателем русского литературного языка, что гениально использовал язык народа – эту его великую сокровищницу. Пушкин потому и стал родоначальником новой русской литературы, что обогатил культуру произведениями, в которых с огромной художественной силой выразил мысли, чувства, мечты лучших сынов русского народа.



Поэтический облик Пушкина раскрывается перед народами советской страны как раз в такое время, когда в Сталинской Конституции рукой гениального мыслителя и борца товарища Сталина записаны мысли, чувства, мечты лучших сынов народа, как уже завоеванные рабочим классом и трудящимся крестьянством победы. С вниманием и любовью оглядывается народ-хозяин на свое прошлое. Открываются ему памятники его борьбы, жизни, творчества с древнейших времен». («Правда»).

Для того, чтобы хоть немножко разобраться в величии пушкинского творчества, вспомним, что было до него и отчасти при нем в активе русской поэзии. Стих, которым писал Пушкин, как каноническая форма поэтического языка, родился за 65 лет до рождения Пушкина в топорных и неказистых виршах Тредьяковского. Лучшими представителями русской поэзии на тот момент, когда началась поэзия Пушкина, были Ломоносов, Державин, Херасков, Хемницер, Богданович, Крылов, Жуковский, Батюшков. Тематически это было или тезоименитное псалмопевство царям да богу, или сентиментальное умиление, или обличение пороков человеческих, или воспевание величия природы, или подражание классическим образцам древних, или иносказание, иногда очень живое (басни Крылова), – правда, выходящее за пределы данного стиля. В прозе имелись повести и записки Карамзина да «Путешествие» Радищева. В драме – «Недоросль» Фонвизина.



Пушкин творчески осваивает это наследие ребенком. Пятнадцати лет он выступает как законченный мастер. Сразу рвет со старым, выходит за пределы его. Становится гениальным лирическим поэтом.

2

Что же это такое: поэт? И почему это так замечательно?

Неужели человек, сумевший ладно привинтить в конце не менее чем двух не очень длинных, иногда чередующихся, строчек не менее одного и не более нескольких (чаще всего двух) приблизительно одинаковых слогов – и есть поэт? Нет, этого не может быть!

Поэт (да нет, будем говорить о Пушкине!)... гениальный поэт, это – человек, гениально мыслящий образами. Поэт – человек, сводящий в своем творчестве в точку, как в фокус объектива, ассоциации воспринимающего его творчество. Поэт делает это средствами искусства поэзии. Средства таковы:

1. Отбор предмета: грубо говоря, – выбор сюжета; строго говоря, – нахождение освещающего, стержневого образа.

2. Композиция: грубо говоря, – последовательность смыслового изложения; строго говоря, – чередование и наложение сопоставлений для создания и внушения гармонической связи ассоциаций.

3. Техника поэтического языка.

а) Ритм: грубо говоря, – пригонка живой речи под тот или другой метр; строго говоря, – мелодика стиха, комплексное распределение смысловых единиц во времени.

б) Фонетика: грубо говоря, – игра звуками слов; строго говоря, – ассоциативное осмысление мелодии человеческой речи.

в) Синтаксис: грубо говоря, – удобное для произнесения и понимания распределение слов в фразе; строго говоря, – интонация стиха, ведущая за собой его темп.

4. Техника стиха.

а) Строфика: грубо говоря, – выбор чередования строк в стихотворном произведении; строго говоря, – раскрытие найденного образа в ритмических отрезках.

б) Метр: грубо говоря, – пригонка живой речи под выбранный ударно-неударный комплекс; строго говоря, – тоническое построение ритмического отрезка.

в) Рифма: грубо говоря, – чередующееся созвучие одного или нескольких (в большинстве случаев двух) слогов в конце строки; строго говоря, – сопоставление констант (тонических упоров) близлежащих ритмических отрезков.

Эти немногочисленные практические и теоретические установки дают нам довольно полный ответ на вопрос, что такое поэт.

Величие и гениальность Пушкина заключается в том, что его поэтическая практика, его творчество находится на недостижимо высокой ступени. Постараемся возможно короче констатировать качественные свойства пушкинской поэзии. Вот они.

Легкость стиха. Ясность мысли. Простота языка. Глубина образа. Человечность. Страстность.

Всегда простота, а не упрощенность. Всегда сложность, а не усложненность.

При любой глубине и на любой глубине поэтической мысли нет ощущения тяжести, тяжелодумства. Чрезвычайная крепость конструкции стиха.

Искренность, пронизанность живым чувством, которому всегда веришь.

Умная ирония, которой поэт пользуется не только для осмеяния ненавистного ему явления; легкий покров этой иронии зачастую окутывает самые серьезные и глубокие мысли поэта и этим самым оттеняет ту или другую сторону умозаключения, очеловечивает его, приближает к читателю.

Реалистичность мирозерцания; мистика и фантастика приводятся поэтом почти всегда или к скептическому, или к реалистическому разрешению.

Исключительная музыкальность, напевность ритма и звучания стиха. Необыкновенная простота и в то же время полнота образа от самого малого (эпитет, сравнение) до самого большого (явление природы, характер человека, отвлеченность).

Естественность сюжета при доведении его до максимальной остроты.

Социальность, умение почуять стоящее общественное событие и во-время отозваться на него своим творчеством.

Четкость и единственность сопоставленья. Синтетичность образа. Философичность; умение коротко и цельно поставить проблему и активно участвовать в ее разрешении.

Гражданственность; желанье и умение организовать человеческое сознание на борьбу за лучшие идеалы человечества: против деспотизма, за свободу, знание.



Колоссальная интуиция, мудрость. Это свойство в просторечии именуется пророческим даром, обладание им считалось чудесным, на основании этого свойства церковь канонизировала так называемых «святых». На самом деле, это – свойство гения, и заключается оно в умении отбирать и оценивать факты собственного опыта, что является достаточным основанием для правильных предположений и предпосылок.

Конкретность, жизненность, художественный реализм всего творчества.

Все произведения Пушкина, за редчайшими исключениями, полны вышеуказанных свойств и ежели б мы задались целью приводить примеры, надо было б процитировать чуть не все произведения поэта. Ограничимся тремя наиболее характерными образцами пушкинской поэзии.

Вот отрывок (вторая половина) стихотворения 1819 г. «Деревня».

*Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
 Среди цветущих нив и гор
 Друг человечества печально замечает
 Везде невежества губительный позор.
 Не видя слез, не внемля стоны,
 На пагубу людей избранное судьбой,
 Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
 Присвоило себе насильственной лозой
 И труд, и собственность, и время земледельца.
 Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
 Здесь рабство тощее влачится по бороздам
 Неумолимого владельца.
 Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
 Надежд и склонностей в душе питать не смея.
 Здесь девы юные цветут
 Для прихоти бесчувственной злодея:
 Опора милая стареющих отцов,
 Младые сыновья, товарищи трудов,
 Из хижины родной идут собою умножить
 Дворовые толпы измученных рабов.
 О, если б голос мой умел сердца тревожить!
 Почто в груди моей горит бесплодный жар
 И не дан мне в удел витийства грозный дар?
 Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
 И рабство, падшее по манию царя,
 И над отечеством свободы просвещенной
 Взойдет, ли наконец прекрасная заря?*



«Барство дикое», «рабство тощее», – ко всей лапидарной полноте раскрытия этого поэтического образа приведенного отрывка прибавить можно только следующее: совершенно правильно делали декабристы, пользуясь этими стихами с агитационной целью. Стихи эти были одной из причин высылки

поэта из столицы. При жизни Пушкина они не были напечатаны и ходили по рукам в тайных списках. Впервые напечатаны эти стихи через 33 года после смерти поэта, в 1870 г.

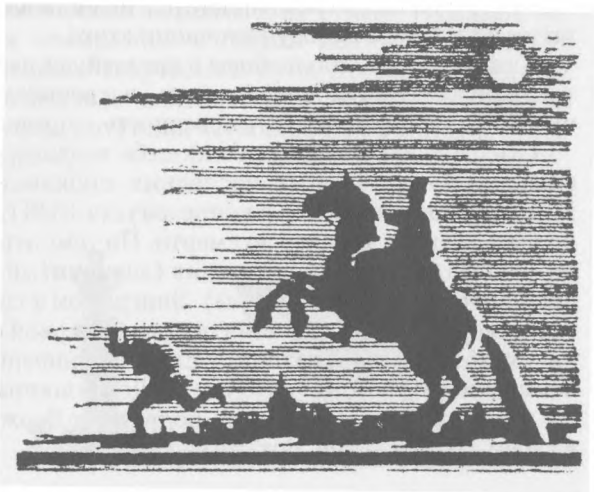
Стихотворение Пушкина «Элегия» написано осенью 1830 г. в селе Болдине, бывш. Нижегородской губ. Как известно по отзывам самого Пушкина, осень была любимой его порой. Осенями он и творчески чувствовал себя наиболее деятельным. Осень, проведённая Пушкиным в Болдине, отличается особенной активностью, творческим напряжением. Там он пробыл около четырех месяцев. За это время им были написаны 8-я, 9-я и 10-я (сожженная в Болдине же) главы «Онегина», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Дон Жуан», около тридцати мелких стихотворений,



пять «Повестей Белкина», «История села Горюхина» и большое количество статей для «Литературной газеты».

«Элегия» – одно из сильнейших произведений поэта. Вот оно:

*Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но как вино – печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильнее.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и тревоженья:
Порой опять гармонией упьюсь.
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.*



Стержневой образ этого произведения – смысл жизни зрелого человека. Композиция, строфика, метр и рифма – предельной ясности и простоты: хронологическое развитие темы – естественно (что было, что есть, что предполагается в будущем, и резюме: впечатление от этого, надежда на радость в будущем); строфически – это упрощенный обернутый сонет (14 строк, разделенных на 6 и 8, связанных попарно); метр – пятистопный ямб с точной цезурой на второй стопе (этим метром написаны, напр., весь «Борис Годунов», «Гавриилиада», драматические произведения). Простота рифмовки необычайна: всего только один случай рифмовки различных этимологических форм («сильней» – «дней»). Ритм богатейший: ни одной одинаковой фигурации ритмического отрезка; сильный и насыщенный; предельно связанный со всей смысловой тканью произведения. Фонетика представляет собой целую сложную сеть музыкального покрова темы: в 14 строках 24 раза встречается буква «у»; в 12 строках показательно сочетание: «мн» – «нм»; в последней строке – «бл» – «лб» и «лн» – «нл». Синтаксис при всей простоте и ясности дает богатую к глубокой основе интонации стиха.

Каждый образ – полнейшее и кратчайшее раскрытие окрестности. Эмоциональность, искренность, социальность, страстность и человечность – предельны.

Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» – одно из последних произведений Пушкина. Оно написано в конце августа 1836 г., стало быть, за пять месяцев до смерти. По теме эти стихи – подражание стихам Горация (знаменитый римский поэт I века до нашей эры). Эпиграфом к своему стихотворению Пушкин взял половину первой строки стихотворения Горация: «Eregi monumentum», что значит: «Я воздвиг памятник». До Пушкина этому стихотворению Горация подражал Державин в своем «Памятнике». Вот стихи Пушкина:

*Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.*

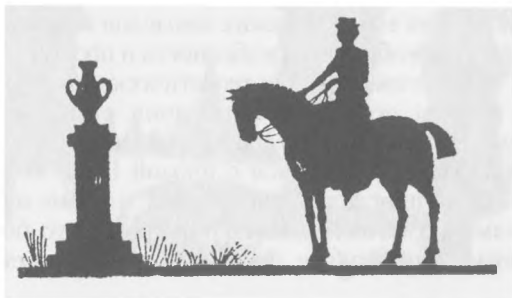
*Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.*

*Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык.*

*И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.*

*Веленью божию, о Муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глумца.*

Поэтическим образом этих стихов Пушкина является осмысление и оценка поэтом всего своего пройденного творческого пути. Достаточно сказать, что точность и осмысления и оценки безупречна. Мудрость, интуиция Пушкина здесь предельно лаконична.



Надо заметить, что четвертая строфа этого стихотворения дважды переделывалась. Первый раз Пушкиным (черновая редакция):

*И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милосердие воспел.*

Второй раз эта строфа переделывалась Жуковским, оказавшим Пушкину медвежьёю услугу. Жуковский был редактором первого посмертного издания сочинений Пушкина; им владела благая мысль – напечатать максимальное количество пушкинских произведений; но все же пришлось, ради жестких цензурных условий, ряд вещей Пушкина изъять из этого издания, а ряд вещей переделать, т.-е. попросту изуродовать. Вот как была изуродована Жуковским вышеуказанная строфа Пушкина:

*И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал.*

4

Во всем своем творчестве Пушкин прежде всего, и главным образом поэт. Поэтический образ лежит в основе всех его творческих замыслов и исполнений. В этом – своеобразие и особенность и прозы Пушкина (как художественной, так теоретической и практической: романы, повести, исследования, статьи, заметки, письма, дневники) и его драматических произведений.

Когда мы знакомимся с прозой Пушкина, у нас чуть ли не проскальзывает мысль: а уж не известна ли нам прозаическая концепция какой-то большей широты, или глубже пронизающей конкретности,

или более глубокого охвата? Достоевский? Лев Толстой? Гоголь? Герцен? Салтыков-Щедрин? И только внимательно присмотревшись к прозе Пушкина, наиболее тщательно постаравшись отыскать и вскрыть поэтический образ пушкинской прозы, — мы с изумлением констатируем всю единственность, всю огромность этого явления, которое может быть кратко названо: проза поэта. Возьмем, например, «Пиковую даму». Изложение в этой повести ведется с необыкновенной, с какой-то незаметной простотой. Прозаическая концепция разворачивается плавно, логично. Тон повести с начала до конца насыщен какой-то спокойной иронией.

И вдруг в какой-то момент эта поверхность прорывается, исчезает. Всё осталось будто бы и прежним; повесть без всяких изменений плавно себе течет да течет; а уж на читателя навалился поэтический образ этой бессмертной прозы: крепкий клубок страстей, возникающих, умирающих, пожирающих друг друга.



Ярким примером поэтического развертывания прозаической концепции является «Евгений Онегин». Роман в стихах «Евгений Онегин» – огромное произведение поэта, занявшее в его творчестве промежуток в целых девять лет (с 1822 по 1833 г.г.) Длина его восьми глав – около 389 строф, около 6200 строк. Поэтическая нагрузка огромна. Внешний сюжет охватывает большой кусок тогдашней жизни. И экономика страны, и семейный быт, и идеология эпохи – всё нашло отражение в этом колоссальном сочинении Пушкина, всё нашло могучую поэтическую образность.

Поэтический же образ лежит в основе и драматических сочинений Пушкина. Они не театральны не потому, что являются слабыми произведениями искусства драмы, а потому, что являются произведениями другого искусства, искусства поэзии. И рассмотренные под таким углом зрения, они сразу становятся на свое место, как непревзойдённые, гениальные поэтические шедевры.

Пушкинские драмы не театральны. Но их нетеатральность совсем особого свойства. Вернее сказать, что они требуют совершенно особого театра, поэтического театра.

Первый из вышепоименованных царей расправился с молодым Пушкиным «елейно», посредством рукоприкладства: высылка под надзор полицейских и духовных властей сначала на отдалённый юг (Бессарабия, Одесса и окрестности), а потом в глухую деревню (село Михайловское бывш. Псковской губ.). В ссылке поэт провел по сути дела всю молодость, около 6½ лет, с 6 мая 1820 г. по 8 сентября 1826 г. Второй царь, Николай, хотел поступить с Пушкиным посообразительней, замирился с ним, обласкать его, использовать силу пушкинского творчества для себя, сделать из Пушкина второго Булгарина. На замирение Пушкин пошел, но своей поэзии царю

не предал. Он стал скрытней, осторожней, но не поступил ни единым своим вольным принципом.

Противоправительственная оппозиция того времени, декабристы, относилась к Пушкину, как к своему поэту. В бумагах всех декабристов были найдены списки пушкинских произведений. И Пушкин всю жизнь считал декабристов своими братьями, друзьями, а себя самого только случайно не вошедшим в тайное общество в качестве активного члена его.

Вся культурная Россия, начиная с конца десятых годов прошлого века, внимательно прислушивается к голосу Пушкина. Нелепая гибель его вызывает массовое возмущение.

Литераторы, главным образом так-называемые «критики», только по тупости или по личным побуждениям лают на Пушкина; и надо сказать, что тупости и побуждений хватало: лай не прекращался до самой смерти Пушкина и всю жизнь чрезвычайно раздражал поэта. Все наиболее одарённые представители русской поэзии, с Лермонтовым во главе, становятся под эгиду Пушкина.

Некоторое охлаждение к Пушкину имеется в 50-60 годах прошлого столетия в связи с демократизацией эстетики русской интеллигенции и в результате неправильной оценки Пушкина, как поэта только аристократического (высказывание Писарева).

Триумфальное шествие славы Пушкина после этого временного охлаждения – неизменно.

И если в начале нашей эпохи, в годы военного коммунизма, могли быть возможны левацкие загибы в отношении к Пушкину, то надо прямо сказать, что это были случайные, единоличные выпады, а в общем после Октября у нас отношение к Пушкину самое бережное, и изучение Пушкина – самое тщательное.

Последние годы, годы нашего небывалого культурного подъёма, в этом отношении особенно показательны. Рабочие-стахановцы нашей страны

на страницах периодической печати (и в журналах, и в газетах) дают отчет о своем отношении к Пушкину. Мы можем с гордостью констатировать, что нет такого гражданина в нашей стране, который бы не знал и не любил великого поэта.

И «гордый внук славян», и «финн», и во времена Пушкина «дикий тунгуз», и «друг степей калмык» не только «называют» имя Пушкина, как сто лет тому назад предрёк сам поэт, но и высказывают живое свое мнение о Пушкине, и высказывания эти подчас ценнее, интереснее и глубже высказываний современных Пушкину специалистов и профессоров.



ЗАБЫТЫЙ ПОЭТ

Памяти Г.Н. Оболдуева

Мне хорошо запомнилась печальная дата 27 августа 1979 года – двадцать пять лет со дня смерти поэта Георгия Николаевича Оболдуева. С грустью стоял я в тот день над могилой в Голицино, читал издавна известные мне его стихи, вспоминал о нем и о своей юности, о тех далеких годах, когда мы вместе жили на Медвежьей Горе (ныне Медвежегорск) на берегу Онежского озера, только что соединенного с Белым морем. Тогда Георгий Николаевич был старше меня лет на пятнадцать, теперь я стал старше его, но представить это невозможно, лишь с новой силой вспыхнула боль утраты.

Непроизвольно вспомнились именно «беломорские» стихи Георгия Николаевича. Однажды нам посчастливилось проехать – «прошлюзоваться» – от Онеги до Кандалакши по знаменитому каналу на парходике «Карл Маркс», тоже не менее знаменитому, потому что никакое другое более крупное пассажирское судно пройти по каналу не могло. Из этой поездки и привез Георгий Николаевич стихи, которые вскоре были опубликованы в местном журнале «ББК» («Беломорско-Балтийский комбинат»).

*Денек от солнышка размякший.
Под беломорским ветерком
Поселок старой Кандалакши.
Река. Горы крутой подъем.
В бруснике яркой, точно в сусле,
Скалы последней миштый кряж.
Вдруг зазвенел, запел, как гусли,
С вершины сброшенный пейзаж.
Залива шелковую шкурку
Дырявит сотня островов;*

*Ко мне бегут толпой понурой
Раскаты медленных холмов;
Дерев приземистые урны,
Будто вслушиваются в тень,
В цветенье серости гравюрной,
Которой переполнен день...
Сюда, в край света, в Заполярье,
Бежал раскольник от греха;
Торчат еще давнишней гарью
Церковок древних потроха...*

Не уверен, что все и точно запомнил, а журнала под рукой нет. Но пространная «пейзажная зарисовка» кончалась таким звучным в духе времени четверостишием:

*Здесь через год, да нет – в полгода
Возникнет заполярный порт:
Там пристань заглядится в море,
Тут город в горы будет втерт!*

Оказывается, Елена Александровна Благинина, водившая нас на могилу мужа, этих его стихов не знала, и не раз за день просила меня их повторить.

– Слышу егорову интонацию, узнаю его стиль, его словарь... «Раскаты медленных холмов» и вправду хорошо, как и «город в горы будет втерт»...

Двадцать пятый год отмечает Елена Александровна эту печальную дату, радушно встречая всех, кто помнит Георгия Николаевича, приходит или приезжает к ней, чтобы разделить ее незатухающую горе. Печаль ее проявляется естественно, как у человека пожившего и знающего цену «вечных» потерь. Вспоминает Елена Александровна о Георгии Николаевиче так, будто он вчера только оставил их общий дом, комнату, в которой он работал, – вот она в том привычном для него виде, точно такая, как и четверть

века назад, предельно просто убранная, с небольшим окном, глядевшим в яблоневый сад: стол, стул, кровать...

– Егор любил здесь работать... Яблони-то оголились, вымерзли, а тогда буйствовали... Запущено теперь наше «помесье» и сил нет нам, «старуням», ухаживать за ним.

Елена Александровна жила тогда с сестрой, приветливой, добродушной Антониной Александровной.

Когда мы пришли на могилу, Елена Александровна сказала:

– Порадуйся, Георгий Николаевич, издалека, из самой Сибири пришел к тебе гость...

И снова мы почувствовали, что он для нее жив и никогда ее не покидал. Во всем поведении Елены Александровны в этот день жила сама простота, реальный смысл обретала известная формула, ставшая от частого употребления обыденной: «Жить будешь ты в наших сердцах...» И все произнесенное у Елены Александровны звучало нежно и трогательно, хотя и маскировалось подчас подчеркнуто-грубоватым словом (нередким, как я помню, и в речи Георгия Николаевича).

Лишь однажды за весь день, при чтении стихов Сергея Павловича Боброва – поэта, организатора «Центрифуги», прозаика, стиховеда и математика, – посвященных Георгию Николаевичу, голос Елены Александровны дрогнул, сорвался и, превозмогая слезы, она дочитала стихотворение, в котором Георгий Николаевич предстал перед нами в пору войны (с мая 1943 по август 1944 года он служил разведчиком в составе разведывательного противотанкового дивизиона, а демобилизовался, как и многие, после окончания войны).

Сергей Павлович написал это стихотворение через двадцать пять лет после встречи с другом,

видимо, в дату чем-то ему памятную – 21 апреля 1964 года:

*В моей каморке бедной
Вдруг появился ты –
Измученный и серый
В сияньи нищеты;
В шинелишке солдатской,
Забывший и худой,
И ангел смерти братской
Бок о бок шел с тобой.
Как был сквозь мук и терний
Безумно чистый взор –
На образах вечерних
Видал я до тех пор,
Не строгий, не высокий,
Но изможден до дна,
Он из глубин далеких
Светил едва-едва...*

С таким «безумно чистым взором» увидели и мы Георгия Николаевича, оказавшегося поздней осенью 1943 года в Москве всего лишь на несколько дней. А Елена Александровна несомненно увидела его воочию, и губы ее почти неслышно, как оправдание невольным слезам, прошептали:

– Изможденным, больным, неузнаваемым явился тогда с фронта Егор...

Не более мгновенья прошло, как и над нами пролетел фронтовой «ангел смерти братской», а мне показалось, что мы молчали бесконечно долго, опаленные прорвавшимся горьчайшим воспоминанием.

– Я часто спрашивала его, – нарушила первой наше молчание Елена Александровна, – что он там, на передовой, видел и пережил. Егор либо отмалчивался, либо отрешенно как-то произносил: «Ни рассказывать, ни писать об этом у меня нет сил...»

Все остальное время, что мы провели в Голицино, Елена Александровна была бодрой, оживленной, общительной. И корила себя:

– Вот обленилась, на ноги свои ссылаюсь, а они еще служат и служат... Сколько мне послужили мои ноженьки!

Дело в том, что мы ждали машину, чтобы съездить на кладбище, но не дождалась, и решила Елена Александровна повести нас пешком.

И только дорогой мы поняли, каким трудным оказался для нее этот пеший поход. Но не мы ее, а она нас подбадривала, утешая, что это совсем недалеко, и отказывалась от любой даже минимальной помощи.

– Чуть-чуть постоим, отдохнут мои «кони» и – вперед.

Елена Александровна Благинина – известная поэтесса, так что представлять ее мне не надо. Заинтересованных отсылаю к ее многочисленным книгам для детей и взрослых, к обстоятельному очерку ее творчества В.А. Приходько, появившемуся еще в 1971 году в издательстве «Детская литература».

А поэта Георгия Николаевича Оболдуева мы по существу не знаем. Оригинальные его стихи печатались крайне редко, а переводы, появлявшиеся время от времени в печати, не позволяли составить о нем представление как о своеобразном поэте, тем более, как я понял, переводческая работа не была его призванием.

В статье Вл. Глоцера из КЛЭ (т. 5, ст. 362) основные сведения о жизни и творчестве поэта сообщаются – и хорошо, что они в литературной энциклопедии нашли свое место. Но даже из этой кратчайшей статьи видно, как несчастливо сложилась судьба поэта.

В юности Г.Н. Оболдуев (он родился 19 мая 1898 г.) ушел на фронт гражданской войны, в тридцатые годы выслан в Медвежегорск, в сороковые – ушел на передовую Великой Отечественной войны,

умер в 1954 году, испытав все тяготы послевоенных трудностей. Разумеется, все эти беды общие для людей его поколения, но переживаются они, как известно, индивидуально, в зависимости от характера, от особенностей нравственных требований к себе, от убеждений, гражданских, философских и эстетических, поскольку речь идет о поэте.

Георгий Николаевич окончил гимназию, музыкальное училище по классу рояля, учился на философском факультете университета и закончил Высший литературный институт имени В.Я. Брюсова. Из этого простого перечисления видно, к какой профессии он себя готовил. Но жизнь распорядилась по-своему. Три года – с 19 лет – служил солдатом в войну гражданскую, столько же отслужил солдатом в войну Отечественную; многолетние мытарства с работой, которая хоть как-нибудь обеспечивала бы, а главное – творчески удовлетворяла...

Познакомился я с Георгием Николаевичем теперь уже полвека назад.

В 1934 году в библиотеке Беломорско-Балтийского комбината на Медвежьей Горе я долго рылся в книгах, выбирая что-нибудь почитать. Библиотека для такого лесного городка была хорошая, даже редкая, и обычно после работы здесь собиралось много жаждущих «отвлечься» от повседневной, часто непривычной работы, поговорить. Для нас, присланных на Беломорско-Балтийский канал, эта узенькая комнатуха с десятком стульев по бокам и длинными стеллажами была в сущности своеобразным клубом, куда приходили отдохнуть, повстречаться с интересными людьми, каких здесь оказалось немало, обменяться новостями, поспорить или просто подышать воздухом мудрых книг.

– Я слышал, вы пишете стихи... – Ко мне неожиданно подошел невысокий с крупной головой человек и представился: – Георгий Николаевич Оболдуев.

Я смутился, потому что в эту тайну посвящен был лишь один человек – Саша Калабухов, мой хороший знакомый, в то время пробовавший себя в поэзии.

– Нет, какие стихи... так...

Мое невнятное бормотание не было принято в расчет, и через несколько минут на улице – лесок начинался сразу же, как выйдешь из библиотеки – я лопотал свои непричесанные вирши.

– А у вас есть одна неплохая строка, – одобрил меня Георгий Николаевич. Он повторил ее, поскандировал, а потом начался для меня первый профессиональный разговор о литературе. Вскоре он стал преимущественно монологическим, потому что я, как никогда раньше, почувствовал крайнюю свою неподготовленность и творческую несостоятельность.

– Вы не читали Ибсена и Гамсуна? Милый мой, вы счастливейший человек! Вам предстоит открыть их книги – «Бранд» и «Голод», «Пер-Гюнт» и «Пан», «Кукольный дом» и «У врат царства»!.. Возвращайтесь немедленно, бегите – здесь в библиотеке чуть ли не полное собрание их сочинений!

Я в самом деле возвращался, бежал, брал сразу несколько томов и на ходу с нетерпением и трепетом открывал первую страницу. Я «глотал» таким образом «открытых» писателей не отдельными их книжками, а собраниями сочинений. По-новому, не по-школярски – и целиком – читался Лев Толстой и Шекспир, а коллективно прочитанный «Крысолов» Александра Грина, любимого произведения Георгия Николаевича, разом приоткрыл для меня как бы совершенно нового, значительно более глубокого писателя, чем я до того представлял. Это было удивительное, прекрасное и незабываемое время!

С тех пор, как помню себя, я был равнодушен к печатному слову. Однако только осенью 1934 года я взглянул на то, что происходит в литературе, как на дело своей жизни. До этого я был лишь потребителем

произведений искусства, теперь я стал изучать его, я жаждал узнать технологию, его цели и задачи, его места в жизни человека, его всегда чарующий и неотразимый смысл... Да, да, смысл, так как до сего дня я не принимаю неодухотворенную «бессмысленную» красоту.

Именно об этом говорило мне одно стихотворение Георгия Николаевича из уже созданного им тогда цикла «Современные мысли»:

*Одушевлять на кой нам
Такую красоту,
Которая покойна
На белом паспарту.
Ни жизнью обрамить,
Ни смертью стереть:
Как в собственную память,
Смотреть на нее да смотреть.
Она дана не небом:
И очень хорошо!
Мы сыты черным хлебом
Под возгласы: «Иишо!»
Мы знаем цену страсти
Без всяких конъюнктур,
Мы счастливы отчасти
Нищетой своих конур.
Красот вокруг немного,
Но тем они ценней,
Живые, как берлога
Окрестности моей.
Нам иноходь такая
Набьет пустой загром,
Но, ей не потакая,
Живем обиняком.
Спаяны свежо и тесно
Жизни выжитой слои:
Как прелестно, как прелестно
Жить. На свете. В дни свои.*

Я и сейчас убежден, что «одушевлять» «покойную» красоту на бедной, все терпящей бумаге нет никакого смысла, так как подлинная красота разлита в самой жизни, какой бы скудостью она для нас ни обернулась. Красота в искусстве действительна жизненной наполненностью, любой покой ей противопоказан, да и в природе он, покой, как известно, не существует. В стихотворении может насторожить чуть ли не программно звучащее заявление – «живем обиняком». Но реальное состояние человека не определяется одними нормативами. У конкретного человека, несмотря на все его старания «жить с веком наравне», жизнь складывается не только по господствующим «требованиям времени». К тому же сами эти «требования» неизбежно проходят историческую проверку, неумолимую и жестокую. Поэтому-то «живем обиняком» психологически здесь вполне соответствует понятию живем «без всяких конъюнктур», ибо учет всяческих конъюнктур – это нимб на челе рационально мыслящего человека. Он-то всегда живет по требованиям «своей» среды, часто не согласуемыми с элементарными требованиями совести. Если же говорить о программе этого стихотворения, то она в утверждении: «Как прелестно, как прелестно жить на свете в дни свои!» Пусть в декларативной форме, но ясно выражена мысль о природе самой красоты в искусстве.

Однако я не собираюсь писать статью о творчестве поэта, своевременно не появившегося для широкого круга читателей. Я рассказываю о влиянии, какое он оказал на меня как поэт и как человек, отлично знавший русскую и мировую культуру и умевший сказать о прошлом и настоящем нашего мира с редкой тогда остротой и бесстрашием. Живая и мгновенная реакция на все вокруг происходящее, отсутствие шаблона в системе восприятия и мышления, юмор и остроумие – первейшие качества Георгия Николаевича как собеседника.

Александр Павлович Квятковский, автор известной книги «Поэтический словарь» (М., 1966), сам писавший стихи, как-то в шутку сказал о нем:

– С Егором невозможно разговаривать: не успеваешь разом схватить и переварить его каскады остроумия.

Но секрет обаяния личности Георгия Николаевича лучше всех выразил, как я теперь понял, Сергей Бобров, когда сказал о его «безумно чистом взоре», который в тридцатые годы «светил» не едва-едва, а во всю мощь.

Георгий Николаевич и ввел меня в круг интереснейших людей Медвежьей Горы – писателей, журналистов, художников, музыкантов, певцов, режиссеров, искусствоведов, философов... На маленьких собраниях то у одного, то у другого из живущих на Медвежке импровизированно читались настоящие лекции о Винкельмане и Шопенгауэре, о Фрейте и Бетховене, о возможностях русского стиха и о Блоке, о Художественном театре, о котором я понятия не имел, и о Серове, Врубеле... Само общение с людьми, успевшими что-то сделать, где-то побывать (даже за рубежом, что было по тем временам редкостью), многое узнать, давало ничуть не меньше, чем курс, прослушанный в университете. Нередко мы, молодые, присутствовали при обсуждении дискуссионных политических и теоретических проблем.

Поэта Баранцевича (к сожалению, я не помню его имени) мы с А. Калабуховым просили рассказать о знаменитом Зигмунде Фрейте, потому что поэт частенько на него ссылался. Я, чтобы не сидеть, «хлопая ушами», стал искать книги ученого и нашел одну, для меня, двадцатилетнего, весьма подходящую. Она называлась «Психопатология юношеского возраста». Баранцевич, человек тихий, скромный, говорил с увлечением. Но Георгий Николаевич, явно к фрейдистам скептически настроенный, сбивал «лектора» то едким

замечанием, то к месту сказанной репликой. Баранцевич отшучивался, а я сначала досадовал на «бестактность» Георгия Николаевича, а потом уразумел, что это же дискуссия, диалог принципиальных противников, тонко и с юмором проведенный. И моя заранее подготовленная речь по поводу «психопатологии» попросту не потребовалась, хотя очень хотелось «блеснуть» хоть каким-нибудь пониманием обсуждаемого вопроса. Другой раз – тоже по специальному приглашению – на квартире философа Гавронского, учившегося в Германии, мы прослушали лекцию «О смехе». В ней звучали имена Аристотеля и Аристофана, Гегеля и Шопенгауэра, Рабле и Свифта, Гоголя и Салтыкова-Щедрина, Булгакова и Аверченко, Зощенко и Маяковского... А суть сводилась к тому, чтобы дать бой сторонникам полнейшего отрицания сатиры «в нашем социалистическом обществе» – ведь тогда только-только отгремели дискуссии по этому вопросу.

– Сатира отжила свой век? Ха! Вот уж поистине теория смеху достойна, – мрачно произнес Георгий Николаевич, выслушав блестящую речь Гавронского, и прочитал свое стихотворение все из того же цикла «Современные мысли»:

*Ржал в траве кузнечик
Медленно и знойно.
Несколько овечек
Шло благопристойно.
Люди – желты, босы –
Ворошили сено,
Отбивали косы,
Преклонив колена.
Те теплые толпы
Облекла кончина:
С ними холод теплый
Делит их скотина.
Конь, корова, жучка,*

*Плуги, сохи, косы –
Как быстро, как жутко
Распластали кости.
Ржет в поле кузнечик,
Прет по полю стадо,
Каждый человек
Делает, что надо:
У одного книга,
У других газета –
Посильное иго
Темноты и света.
Ветрик насекомых!
Ветрище аварий!
Ветерок черемух!
Ветер гор и далей!*

Стихотворение написано, вероятно, в 1931 году. Сейчас мы можем отнестись к нему объективно, как объективно относимся, допустим, к выступлениям Андрея Платонова, объявленным в начале 1930-х гг. «кулацкой вылазкой». Массовый выход крестьян из колхозов, наскоро сколоченных, наделал немало бед. Этим и обусловлена критическая резкость поэта, взволнованного происшедшими событиями.

Все присутствующие согласились, что подлинно реалистическое искусство не может не вскрывать противоречий действительности, делать вид, что их у нас нет.

– Но заостренность здесь крайняя и по тону безнадежная, – говорили одни. – И автора можно заподозрить в полнейшем неприятии необходимых социальных перемен, с какими бы ошибками они ни совершались.

– Однако же с этим согласиться нельзя, – возражали другие. – Заключительная строфа полна веры в человеческий здравый смысл, в способность людей найти выход из аварийного положения...

Поэт молчал, заметив только, что разъяснять автору свое произведение – это означает признать его полнейшую художественную несостоятельность.

О тридцатых годах уже написано во многих произведениях (например, «На Иртыше» С. Залыгина или «Драчуны» и «Хлеб – имя существительное» М. Алексеева), так что стихи Оболдуева не воспринимаются теперь чрезвычайной новостью. Однако о них, написанных по горячим следам, как и о произведениях Андрея Платонова, надо помнить. То и другое – естественный результат «головокружительных» по своей скоротечности социальных процессов, происходивших в нашей стране.

На Медвежке была нами пережита дискуссия, развернувшаяся на Первом Всесоюзном съезде писателей. Самым ярким защитником и пропагандистом поэзии Бориса Пастернака был Александр Калабухов, тогда писавший стихи. Помню, он прочитал свое стихотворение, кажется, оно начиналось: «Я никогда не умирал...» О нем Георгий Николаевич сказал коротко: «Уф, символятинкой пахнет!» И говорить о нем больше не стал.

Когда же А. Калабухов опубликовал в журнале «ББК» большое стихотворение, Георгий Николаевич пришел поздравить его с началом литературной деятельности. Затем он внимательно и чутко, что называется, по «косточкам», разобрал стихотворение и заключил его словами: «Вы же обещающий художник, Саша, если сумели услышать и написать: "Брел ропот бором..."»

Дискуссия о Маяковском и Пастернаке продолжала бушевать, и Оболдуев в те дни произнес не столь уж еретическую фразу: «Владимира Маяковского поймут не скоро и, быть может, через поэтов, как я...».

История распорядилась иначе: непонятым и попросту непрочитанным оказался сам Оболдуев. Однако фраза эта шире ее прямого смысла. Речь шла

о поэтах неповторимо своеобразных, а не просто следующих за Маяковским. Во всяком случае на нашем «Олимпе», на самой высокой горе вблизи Медвежки (она-то и дала название городу), читались стихи Пастернака и Ахматовой, Гумилева и Волошина, Блока и Мандельштама, и дискуссия на съезде как-то мало нас затронула: Маяковский и Пастернак были и остались большими поэтами, но не ими одними определялись судьбы русской поэзии.

Оболдуев явно подхватывал «матерьяльность» образов Маяковского, разумеется, по-своему, в своих красках, в своей интонации:

*Я осторожно вел стихи
Среди подводных скал людей.
Меня прощали, как грехи
Своих развинченных затей.
Мной не клялись, но знали час
Невольных современных снов,
Когда и эта мной клялась,
И та жила, чем я здоров.
Моих невидимых костей
В объятьях энергичных мяс
Не трогал эклектизм детей,
Которым грамота далась.
Я не отпетый алфавит
Укладывал в огонь и лед:
Так что, коль время подождет,
Твой правнук мной заговорит.
А ты, заткнувший гнев и стыд
За пазуху своих невзгод,
Будешь иметь неважный вид,
Хоть нынче он тебе идет.
Довольно хитрости и лжи,
Довольно правил и доброт.
Ты не жил, но зато я жил:
И жизнь от жизни заживет.*

Разговор с правнуками всегда опасен (дай бог договориться с современниками!), но отказать этому произведению в выразительности нельзя, как невозможно не заметить его и ныне актуальной направленности против любой лжи, против приспособленчества с его внешним соблюдением «правил и доброт». Это та же публицистика, которая была сильной стороной поэзии Маяковского, публицистика не лозунговая, а личностная, с огромным эмоциональным напором.

Конечно, можно назвать немало объективных причин, помешавших поэту выйти в свое время к читателю. Но вот еще одна – субъективная, для тридцатых годов исключительно важная. Ни Хлебников двадцатых годов, ни Заболоцкий тридцатых – проявить себя в полной мере не могли. Хлебников умер рано, а Заболоцкий вынужден был замолчать на целые десятилетия.

Оболдуев любил Хлебникова за его «иррациональность», но совсем не за ту, которая иллюстрировалась обычно стихотворением «О рассмейтесь смехачи!»

– Прислушайтесь, – говорил Оболдуев, – в этом стихе все расковано, все как бы вне обычной логики, иначе сказать, иррационально:

*Детуся! Если устали глаза быть широкими,
Если согласны на имя «браток»,
Я, синеокий, клянуся
Высоко держать вашей жизни цветок!*

Георгий Николаевич произносил слова стихотворения просто, словно меня, слушающего, здесь не было, словно переживал он все наедине, не читал, а тихо размышлял:

*Хочешь, мы будем брат и сестра,
Мы ведь в свободной земле свободные люди,*

*Сами законы творим, законов бояться не надо,
И лепим глину поступков.*

Помолчал, потом взглянул куда-то вверх и выдохнул:

*Знаю, прекрасны вы, цветок голубого,
И мне хорошо и внезапно,
Когда говорите про Сочи
И нежные ширятся очи...
Много мы лишних слов избежим,
Просто я буду служить вам обедню,
Как волосатый священник с длинною гривой,
Пить голубые ручьи чистоты.
И страшных имен мы не будем бояться!*

Последнюю строку Георгий Николаевич произносил после длительной паузы, широко открыв свои чистые глаза в ожидании чуда, которое вот сейчас перед нами и свершится.

От него впервые я услышал незабываемые хлебниковские строки:

*И когда знамена оптом
Пронесет толпа, ликуя,
Я проснусь, в землю втоптан,
Пыльным черепом тоскуя...*

Когда я добрался до томика избранных стихов Хлебникова, то выяснилось, что многие из них я уже знаю.

С декабря 1935 года мне пошел – страшно было подумать – двадцать второй год. 6 декабря, в «день совершеннолетия», как назвал эту «круглую» дату Георгий Николаевич, он принес мне в подарок им самим от руки переписанную поэму, которую я, к великому огорчению, не сумел сохранить, и своеобразный

триптих, мне посвященный. Он так и назывался «Три стишка не для детей». Видимо, и для него они были некоторым итогом нашего общения, наших размышлений. Второй «стишок» я приведу полностью, чтобы дать представление о той программной иррациональности, о которой я упоминал.

*Зеленые временные составы веток
В меня, как в воду в паводок:
Черпают мой занавешенный опыт
Куда какие невеселые лентяи.
Вызванные бренным цветом рассвета,
Ложатся ловкие, точно ленивые, мысли
На немогучие плечи вещичек.
Мне ль не знать радостной емкости
За беспредельной цепкостью ассоциаций?!
Вот так лианы, вот так ежики! –
Того гляди пырнут меня секундной
Вечностью своего пребывания.
Ух, как точно и беспредельно!*

Эта эпатажирующая читателя поза поэта привлекательна своей откровенностью, хотя она и осложняла его жизнь. Однако же этот давний «стишок» явно предвосхитил некоторые опыты современных поэтов.

За декларациями стоял еще поэт, который достигал цели своими средствами. Они ничуть не хуже любых других и свидетельствуют об оригинальности поэта <...>.

Как бы мы к такой манере ни относились, безусловно слышен свой голос поэта. С годами голос этот окреп, и я, спустя несколько лет, в этом убедился.

В 1967 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел сборник лирики русских поэтов «Песнь любви» и в нем стихи Г.Н. Оболдуева «Серый взор». Стихотворение начиналось так:

*Не верь, приятель, сероглазым:
Коварен серый взор,
Он отымает дух и разум
И на расправу скор.
Любовь подобна лунным фазам:
То пялится в упор
Бессонным золотым топазом,
То прячется, как вор.
Правительственным бы указом
Дать всем страстям отпор,
По запасным сердечным базам
Храня отпетый вздор.
А коли нет – покончим разом
Наш невозникший спор,
Навеки предпочтя проказам
Приятный разговор.*

Я был рад, что поэта вспомнили и дали характерное для него произведение, хотя мне и казалось, что из его неизданных книжек не отобрали лучшее. Есть у него немало лирических стихотворений, о которых тоже следовало вспомнить <...>.

Или еще стихотворение «Нелюдимо», посвященное Елене Александровне Благиной.

*Нелюдимо наше горе:
Одиночество, как тьма,
Обживается тем скоре,
Чем слабей огонь ума.
Нелюдима радость наша:
Бред угрюмый, сон больной...
Жизни выпитая чаша –
Бесприютный непокой.
И когда проходит мимо –
Ни обычно, ни ново –
Наше счастье: нелюдимо,
Потому что нет его.*

Со временем диапазон его лирики расширился и расширялся, впитывая в себя и народные мелодии, что казалось для него даже неожиданным. Но ведь это было свойственно и лирике В. Хлебникова, которая так привлекала Георгия Николаевича. Вспомним у В. Хлебникова: «Эй, молодчики-купчики...»

На Медвежке был тогда организован оперный театр. Артистов набрали со всех «уголков» ББК. Посещали мы театр усердно, а Георгия Николаевича можно было назвать знатоком музыки. Он часто аккомпанировал певцам, однажды даже дирижировал оркестром. В те дни модной стала песенка из фильма «Под крышами Парижа». Георгий Николаевич не перевел, а просто положил свои слова на эту песенку. Застрял в памяти один припев:

*Мы бедны, ну так что ж,
Это вовсе не грех,
И для нас мир хорош,
Как для всех.
Хорошо, хорошо,
Хорошо для того,
У кого за душой ничего...*

Александр Павлович Квятковский, впервые услышав песенку, расхохотался:

– Идиотик он, что ли, у тебя, Егор, – раз «за душой ничего»?

Георгий Николаевич комично схватился за голову:

– Сдаюсь! Пусть будет... – он думал не менее секунды – «ни гроша»...

К такого рода стихам он относился как к занятой игре. А мы охотно пели, так как подлинного текста не знали, а песенка в самом деле была хороша.

О войне Георгий Николаевич все-таки написал, и снова по-своему, в огрубленно вызывающем стиле, без малейшего намека на смягчение того, что увидел,

как бы и не выбирая приличествующих событию слов, но за ними-то и скрыта непереносимая, все захватившая боль поэта за судьбу «неизвестного солдата». Стихотворение названо «Похоронка» <...>.

Развивался Георгий Оболдуев как поэт сложно – это ясно даже из того малого, что я рассказал, касаясь в основном одного медвежегорского «периода» жизни поэта. Из его рукописного наследия еще предстоит отобрать лучшее и задуматься о дальнейшей его судьбе. Для меня Георгий Николаевич остался человеком щедрой души и незаурядного таланта. Он первым научил меня шире и глубже оценивать явления жизни и искусства, лучше понимать самого себя.

*Печатается с сокращениями по изданию:
«Литературное обозрение», № 6, 1987, с.106-111.*

ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ С Г.Н. ОБОЛДУЕВЫМ

В Брюсовском Институте видела его мельком – летало что-то басовитое, стремительное и молодое. Моя жизнь тогда текла особо от кружка, где он был вдохновителем и заводилой.

В 1924 году вышла замуж и тогда жизнь совсем разъединила нас. Впервые после окончания Института я увидела его на празднике у Марии Ивановны Поступальской – где-то в районе Андрониевского монастыря.

Мария Ивановна уверяет, что у нее не было никогда рояля, особенно в те времена, когда они с мужем – Степаном Злобиным, как говорится, перебивались с хлеба на квас. Меж тем воображение мое рисует зажженные свечи, рояль, летающие по клавишам руки, озорное, еще мальчишеское лицо, и тот же басовитый голос:

*Грузило бочки в лодку
Матросов тридцать штук.
Грузило бочки в лодку
Матросов тридцать штук.
Катят матросы груз на волну седую,
Катят матросы груз на крутой песок.*

Песню подхватывали молодые голоса и всё вместе: свечи, напев, пленительный профиль, – как-то радостно слилось в одно волнение: предо мною Человек моей жизни.

По странному стечению обстоятельств мы столкнулись лицом к лицу на следующий день, в трамвае. Это была «Аннушка», мчавшая меня на работу в «Известия».

Не трудно представить себе то почти обморочное состояние, когда я увидела – кто это. Но «человек моей жизни» скользнул по мне блеклой синевой взгляда (день был серенький, а его глаза всегда принимали окраску дня) и спокойно уселся на скамью.

Он не узнал меня! <...>

С тех пор мы даже случайно, даже в трамвае никогда не встречались и я начала забывать «проклятое лицо».

Наступил 1927 год. К этому времени с мужем мы расстались, жила я тогда одна в жалкой комнате на Бутырском валу, по соседству с милиционером – великим хулиганом и матерщинником <...>.

Моим спасеньем и прибежищем была Клеопатра Георгиевна Спанаки – сослуживица и верный друг. Она жила в большой теплой комнате на Арбате, где я и коротала время – т.е. дневала и ночевала. <...>

Наступили тугие времена. Началась коллективизация и всё то, что впоследствии было названо «головокружением от успехов». Опять вышли на сцену карточки, а так как я к тому времени переменила работу, уйдя из хлебных «Известий» во 2-й Университет библиотечаршей, то снабжение мое ограничивалось самой малой малостью. <...>

К этому времени мне удалось сбежать от своих милиционеров: я обменяла свою хазу на небольшую полукомнату в Александро-Невском переулке, в человеческой квартире, где было чисто и тепло. У меня оказалось восемь метров площади за фанерной перегородкой, разделявшей комнату пополам. <...>

Лето и осень тридцать третьего года были непогожие. Не очень погоже сложилась и моя тогдашняя жизнь. Мою библиотеку, которую я с такой любовью собирала и украшала, еще в конце тридцать первого года слили с фундаментальной библиотекой 2-го Университета. Книги, такие родные, валялись «апофеозом смерти» в подвалах, немногочисленный штат

раскассировали – и я оказалась без работы. Спасибо моему другу – Л.И. Тимофееву, который устроил меня в Институт радиовещания и телевидения, чья деятельность, однако, очень скоро закончилась бесславно, хотя работали там люди интересные и пылкие, такие как Яков Зайцев, Токарев и другие. Меня перевели во Всесоюзный радиокomitee, где я работала секретарем в Секторе местного вещания. Но и там я продержалась недолго... И опять я осталась у разбитого корыта. Работы мало-мальски подходящей не предвиделось. Жрали только то, что случайно пошлет Господь Бог. Однако, не унывали.

На Новинском бульваре – у Блѣкловых* – еженедельно встречались друзья-пискаторы, и чего только не вытворяли! У нас был свой театр живой и кукольный, мы пели свои песни (почти все тексты были сочинены мною), хохотали, плясали до упаду под превосходный патефон английской марки, пили водку – под соленые помидоры (хлеб приносил каждый с собою). <...>

И вот однажды у моих друзей Блѣкловых я встретила с Борисом Малкиным, крупным общественным деятелем, большевиком-ленинцем, погибшим вместе с другими в 37 году.

Борису Федоровичу Малкину понравилось, как я работаю со словом. Он дивовался моей неприкаянности, неустроенности и рассказал обо мне Моисею Павловичу Венгрову, который предложил мне вскорости работу в «Мурзилке». Радости моей не было края! За работу принялась изо всех сил, со всем пылом и рвением, на какие была способна. <...>

Первый раз в жизни я почувствовала себя на настоящей работе. Скромные потребности вполне удовлетворял скромнейший гонорар. Я чувствовала себя счастливой, только одного мне не доставало – именно – Одного!

* См. мои воспоминания «Бульвар Новинский № 6».

Как-то вечером мы с М.И. Поступальской – в просторечьи Мума, – зашли к Кириллу Константиновичу Андрееву, женатому тогда на Надежде Ниловне Медведковой. По приглашенью или просто так забрели – на огонёк – не помню. Помню только, что угощенье выставили по тем временам превосходное, так что налопались все досыта. Мы ужинали, когда вдруг кто-то сильно постучал в окно и затем в прихожей раздался знакомый голос.

Дверь отворилась – вошел Георгий. В его манерах всегда было что-то старомодно-пленительное. Изящно (и немного потешно) изгибаясь, он поцеловал руки женщинам и, непрерывно болтая уморительную чепуху, в которой никогда, на моей памяти, никто его не превосходил, тотчас сделался центром внимания. Все любили его болтовню. Это было не настырное балболенье, не жалкое ситро прирожденного остряка, а искрящееся шампанское настоящего остролиста, словотворца и поэта.

От сладкого ужаса перед грядущим, от радости долгожданной встречи, я напрочь забыла о чем говорили, долго ли сидели, куда потом пошли (куда-то заходили), как прощались с хозяевами.

Помню влажный асфальт, туманную ночь. Фонари в радужном сиянии, коридоры Тверских-Ямских улиц и нашу «прогулянку», длившуюся далеко за полночь.

На прощанье:

– Да позвоните же мне коль не в службу (и назвал № телефона), так в дружбу! – и назвал свой домашний телефон.

Номера эти я, конечно, тотчас забыла, да все равно не позвонила бы (тогда это считалось умаляющим достоинство), а просто решила ждать: будь что будет!

На другой день он пришел. Пришел и на третий и на четвертый.

В квартире к нему быстро привыкли. Если он не появлялся день-другой, спрашивали, ждали, – всем

было интересно похихотать от души, подивиться на зоркую память человека, умудрившегося не спутать ни одного имени-отчества, послушать рассказы о том, как делают сыр, какая погода в Америке, что такое «бешеный огурец», как жалит бушмейстер, что такое ботокуды и т.д. – без конца. Даже Лавров вылезал из своей конуры и мрачно ухмылялся, облокачась на косяк кухонной двери.

К этому времени я совсем прижилась в «Мурзилке». Работать мне нравилось, а кроме того, я радовалась, что могу сообщить божеству свой телефон, чтобы он звонил, если не в дружбу, так хоть в службу.

Раздавался звонок. Замирая, беру трубку и слышу красивый, с глубокими перекатами голос, называющий мое имя. Мы уславливались о свиданьи.

Однажды в метельный декабрьский вечер мы шли по 2-й Тверской-Ямской, превесело болтая. Мне была заказана детская песенка-зимняя, из которой помню теперь только четыре первых стиха: «Какое небо синее, беги, беги! От солнца, от инея в глазах круги».

– А у меня есть «Октябрятская». Не угодно ли?

– Угодно, угодно!

– Наизусть не помню.

– А записали?

Он вытащил блокнотный листок, и под фонарем я прочла:

Ай да октябрята-брыта <...>.

Я была в восторге. И до сих пор уверена, что *приём*, которым эта вещь написана, самый наивернейший для того жанра, который принято именовать «поэзией для детей».

– Жаль, – сказала я грустно, – что ни в одном журнале это не может появиться. Главлитчика хватит кондрашка!

– Да уж!

Он некоторое время молчал, шагая рядом, бережно неся мой локоть у своей телячьей дошки. Лицо поднято, ясно вижу профиль, нервное крыло носа, приподнятый уголок рта. «Верблюд суздальского письма» – пришло вдруг в голову.

Ни с того, ни с сего он громко и сухо сказал:

– Я люблю Вас!

– И я... давно!

Он привлек меня к себе и поцеловал в губы крепко, нежно и просто. Так стала я его женой.

О том, что у него семья – не думала. Наше поколение было воспитано в духе свободной морали, наивный и жестокий цинизм которой стал ясен куда позднее – к зрелым, даже я сказала бы, перезрелым годам. А тогда мы нимало не заботились о том страданье, которое причиняли другим и от которого страдали сами: терпеливо и мужественно.

Впрочем, о браке и не думала думать. Просто не хотела жить без любви этого человека, не хотела уступать своего счастья судьбе, от коей так долго его ждала. Пусть оно будет кратким, но пусть оно «будет бываемым», как шутил Георгий. <...>

Новый 1934 год мы уговорились встречать вместе у Блэкловых. 27 декабря в редакции всё шло обычно: я разбирала корреспонденцию, правила гранки и ... сияла: ждала звонка. Александра Герасимовна Степанова – зав. редакцией – смеялась:

– Что-то неладное с нашей Е.А.! Не влюбилась ли?

– Влюбилась, влюбилась! По уши!

– То-то вижу – сияет. Ну, кто, каков? Рассказывайте!

– Не стану! После, потом! Вот гранки – готово!

Кончился рабочий день. Давно прозвенел звонок, давно разошлись все по домам. А я сидела в пустой редакции, тупо уставясь в телефонный аппарат: «Вот оно! Началось! Недолгое счастье! И... позор, позор!

А может болен? Или уехал? Но куда? И, если уехал, почему не позволил?

Собрала пожитки. Заперла редакцию. Дома пусто, скука! Соседи пристают: «Не придет? Жалко! А что с ним?»

На Новинском в этот вечер репетировали новогоднюю программу. Приехав туда, я шепнула Мусе, что «мой» не позвонил. Она, плача, сказала, что «её» ушел совсем – к другой.

Кое-как проведя репетицию (был, помню, новогодний хор, романс, частушки) и переночевав на Новинском, чуть свет помчалась в редакцию. Телефон молчал. Он молчал и 28-го, и 29-го, и 30-го. <...>

В первых числах января я встретила в издательстве Н.Н. Медведкову, которая так, между прочим, но не без лукавства, сказала:

– А знаешь, Георгий 27-го декабря арестован.

Я быстро собрала бумаги, письма, закрыла стол и, ни с кем не простившись, пошла – незнамо куда. <...>

В эти мои трудные дни Костя Блэклов, без особого казалось труда, умудрился успокоить и ободрить меня. Зная его фанатическую веру в советское правосудие, я настороженно присматривалась к нему: думает ли он, что Георгий виноват против народной власти, что он в тюрьме не напрасно? Но Костя *никогда* не поддерживал версии о виновности Георгия. Он считал, что произошла роковая ошибка, которая будет исправлена. Он брал мои руки в свои, гладил их, смотрел в глаза, мигая редкими светлыми ресничками, и говорил:

– Не ошибаются мертвые! Не ошибаются только мертвые, Благиша!

В редакции заметили мою мрачность. А.Г. Степанова – зав. редакцией – которая мне казалась тогда по наивности верхом идейности и духовной чистоты, *выпытала у меня все обстоятельства моей немудрой жизни и все тщательнейше записала в свой*

«партийный» актив. Впоследствии, когда этот актив активно заработал, т.е. задубасил меня по голове, пришлось мне туго.

В середине марта Георгий вышел из Бутырок. Он пришел ко мне, помню, днем – заросший и веселый. Борода у него оказалась совершенно черной, завитой крутыми, какими-то ассирийскими кудрями. От этих кудрей лицо сделалось неузнаваемым и потому чужим. Я смотрела на свое «счастье» как-то со стороны и не понимала, – что же будет дальше.

А дальше была административная высылка на Медвежью Гору – в Карелию. Ехать приказали немедленно – в 24 часа, чтобы духу в Москве не осталось. А он был веселый! Что это? Поза? Или ему вправду весело и жутко от всей этой неразберихи, неурядицы и нелепицы?

Разговаривать было некогда – убежал собираться. Вечером того же дня мы проводили Георгия в Ленинград, чрез который он проследовал к «месту назначения».

Так мы и расстались, едва свидевшись. Отсюда началось всё самое главное в моей жизни – самое высокое, частое и трагическое.

В мае я собралась на Медвежку.

Сборы были не очень долгие, по принципу – будь что будет! Положила в чемодан два платья и скудное бельишко, да стихи, да несколько книг в подарок – и готово. Кошелек тоже был тощий – легко!

В Ленинграде, ничтоже сумняшеся, пошла к Самуилу Яковлевичу Маршаку. О том, что он занят, что он очень крупный и знаменитый – не думала. Втапору мы были насквозь пропитаны демократизмом самой высокой марки. И, действительно, Самуил Яковлевич ничуть не удивился, увидав меня, а прямо провел в свой кабинет, где мы беседовали запросто, как давние друзья: о поэзии, о моей скромной

в частности, о жизни, о Карелии, куда я ехала, о причинах, которые к этой поездке меня побудили.

Мне было тогда тридцать лет, но духовный уровень не соответствовал этому возрасту, как он не соответствует моему сейчасшному пятидесятипятилетию. Это происходит от разных причин. Одна из них, самая основная, та, что люди моего класса и поколения не знали *преемственности культуры*, они начинали с азов *сами*, многое упустили из-за общественных катаклизмов, многому не научились из лени. Одним словом, в свои тридцать лет я раскрывала глаза и уши, как семнадцатилетняя. И что же? Самуил Маршак ни движеньем, ни намёком не показывал своего надо мной превосходства. Наоборот! Я ушла от него, утоленная беседой равного с равным. На прощанье он сказал мне своим глуховатым и таким родным голосом:

– Будьте мужественны, душенька!

Точно он знал, что меня ждет! <...>

В «полярной стреле» было удивительно красиво.

<...> Поезд шел и за окнами разворачивался новый для меня, скромный, совершенно обольстительный пейзаж: озерки, озера, сосны, бегущие с холмов на холмы, нежнейшие переливы воздушных красок, неяркие и полные прелести.

С момента, как поезд подошел к станции Медвежья Гора, прошло почти четверть века. Много драгоценных подробностей ушло, стерлось. Но лицо того, кто ждал меня на перроне, жадно вглядываясь в проплывающие окна, я вижу точно въяве: вот оно перед мной, взволнованное, с ярко-синими глазами, бледное от напряжения (а вдруг не приехала?).

Мы пошли мимо синей Онеги, мимо залитых солнцем деревянных домов, мимо шумной, чистой Кумсы – туда, к финской хибарке, примостившейся у самой воды «у бел-горюч камня», на котором я так любила «умываться» по утрам. За избушкой сразу

начиналась гора, вернее холм, довольно высокий, щедро и тенисто поросший хвойными деревьями.

Я никогда не видела такой скудости и такой чистоты, как у этих суровых финнов – старика и старухи. В хибарке почти ничего не было, только самое необходимое, и я тогда поняла тщету лишних вещей, которые не украшают, а скорее мешают жилью. Сияющие окна, в которые спокойно-торжественно входил полярный день со всеми его оттенками, и свежая зелень, и отсвет Кумсы. Половицы, желтые как воск, застланные суровьем. Скучная посуда, начищенная и блестящая как зеркало. Грубая мебель, пахнущая деревом и смолой.

В нашей каютке стояли широкие нары – постель и стол с двумя табуретками. В левом углу от окна – грубо обтесанный угольник, куда я поставила свою «парфюмерию» в виде пасты и зубной щетки.

Как я радовалась *нашему первому дому*, именно такому, каким он был – свежему, тихому, почти нищенскому. Бурно несущаяся река, лесистость, и этот камень, и эта полная отъединенность, и тишина. Вот она – Кумса его жизни:

Незабвенная Кумса <...>.

Здесь эта тема проведена через заросли послевоенных ассоциаций и аналогий. А тогда для меня Кумса была куском жизни – светлой, трудной и счастливой.

Мой приезд совпал с открытием Беломорско-Балтийского канала. Жалко уезжать от Егора (так его стала я звать), но любопытно же посмотреть на невиданное. И я через неделю или полторы уехала пошататься по Карелии.

Хибинские горы, Кандалакшский залив с призрачной, бурной Нивой, на глаза в него впадающей, поморские кресты, рыбацкие сети, растянутые на зеленых восхолмиях, опрокинутые лодки, громада Мурманского порта с иноземными кораблями на приколе, круглые озера под Мурманском, штабеля трески на

складах, деревянные домики, рассыпанные кое-как в беспорядке, и солнце! Солнце днем и ночью! <...>

Оглушенная, счастливая вернулась домой. Да, впервые в жизни – домой!

Он встретил меня грустно, этот дом. Егор смотрел замкнуто, скулы его (я так любила их наощупь) как-то обострились, глаза увяли. Что это?

Уж потом, в Москве, догадалась: ему жалко было времени, ему показалось горьким мое молодое жадное стремление к чему бы то ни было другому, не имеющему касательства к нашей общей жизни. Он ревновал.

Всё это сгладилось постепенно и мы снова зажили превосходно: гуляли, ходили в гости к Гавронским – Александру Осиповичу и Ольге Петровне, купались в синей-пресиней Онеге, переходили по колеблющемуся, скользкому, странноватому настилу застоявшихся бревен через Кумсу, читали, спорили, бегали скудно обедать в столовку.

Теперь уже не помню почему, но нам вскорости пришлось перебраться из милой избушки в южный поселок, высоко поднятый над озером. Там мы поселились в брошенной баньке. Я её вымыла, выскребла, и тоже стало хорошо. С ним мне всюду было хорошо и уютно.

Втапору наша отечественная поэзия еще была «своевольна как плаха». Она не успела полинять, закоснеть в штампе и обрести мелководное русло плохой злободневности.

Еще звучали отзывы баса молодого Маяковского, великолепно озорничал Заболоцкий, романтический жар Антокольского только начинал спадать, и Пастернак уже стал достоянием веков, и дальнейшее перестало иметь над ним власть. Только Асеев к тому времени уже потерял очарование, уйдя куда-то в сторону и уведя свою своеобразную, взволнованную Музу.

Егор Николаевич Оболдуев жил тогда в плену хлебниковских, пусть гениальных, но все же не всегда (лично для меня) приемлемых традиций. Я не хочу сказать, что его стихи той поры страдали подражательностью – нет. Просто поэт искал, и надо сказать, очень смело. Впоследствии обо всем этом периоде поисков и заблуждений он сам сказал так:

*И не в названьях было дело,
А в том, чтоб наспех продохнуть,
Всем тем, что пело и летело,
Стремглав, переполняя грудь.*

«Скафандр»

К тому времени, о котором идет речь, этот период поисков заканчивался, – поэт вступал на путь «неслыханной простоты».

Из его ранних стихов люблю и помню немногое. Мы часто и жарко спорили. При всей отдаленности наших поэтических позиций, при всей несоразмерности дарований, в некоторых вещах он мне впоследствии (вероятно по очень зрелом размышлении) уступил, и я отчетливо вижу *где и как*.

– Что такое «ржет в траве кузнечик»? – кричала я. – Неужели он ржет только потому, что похож на зеленую лошадку? Но ведь голос его сух и классичен ритмически!

На это он вопил что-нибудь вроде: «Ах, болван-свинопферд! Да ведь в том-то и дело, что важно сомкнуть трудно смыкаемые ассоциации».

Но я не понимала и продолжала отбирать *из него* только то, что считала драгоценным. Я говорила:

*Флагов золотые рыбки,
Волн густой язык – **

* Тогда этой цитаты я привести не могла, ибо стихи написаны позже. Но в данном случае это неважно, потому что приводился адекватный пример.

вот где дальность и трудность ассоциаций настоящая и свежая.

Тогда он задумывался, глаза потухали, скулы остро выдавались, рот сухо смыкался.

Но всё равно, такие разговоры возникали непрерывно на протяжении всей нашей жизни.

Из ранних его стихов люблю «Живописное обозрение» и отдельные вещи из «Неустойчивого равновесия». В черной тетрадке эти вещи (робко) отмечены галками.

Конечно, мне только казалось, что он *уступал* мне в чем-то. Он не уступал, а творчески *преодолевал* какие-то, наверно, очень большие трудности. Вот почему цикл «Лепетанье Леты», написанный в 37–38 годах, был уже яснее, свободнее от того, что принято называть «заумью», а на самом деле от поисков, от врожденного протестантизма. Эти поиски не прошли даром, потому что (как примерно в музыке Прокофьева) появилась особая, одному ему присущая манера самовыражения. Цикл «Лепетанье Леты» – прелюд к дальнейшему хоралу – к стихам 46–47–48 годов и к поэме, начатой в 1940 году.

Время шло – надо было уезжать в Москву. Мелькала догадка: «остаться!» А семья? А дочь, которая собиралась приехать? Нет, нет! Ворованное счастье – тяжкая штука – не волен ни в чем! И я уехала.

Вернулась к разбитому корыту – работы мало, денег – того меньше. Лавров за перегородкой совсем спятил – матерится за десятерых. И пришлось мне (как себя потом корила, как каялась!) расстаться с возможностью материнства, такого желанного!

Осенью поступила на работу в журнал «Затейник». <...>

Письма с Медвежки приходили часто – каждое подобно сонету Петрарки. Я поздоровела, отъелась

на постоянном заработке и стала подумывать о том, что самое время теперь родить сына, наплевав на ко-нуру и Лаврова.

Стихи писала во множестве, изощрялась в эпи-граммах и пародиях, плясала на «писках» до упаду, красуясь в новом платье «Анна Каренина» (черное в кружевах) и радовалась, радовалась...

Всё это совпало с лозунгом «жить стало лучше, жить стало веселее», с отменой карточек, с искренней нежностью к Сталину, чей деспотизм был тогда еще в коконе – бабочка вылетела позже.

Убийство Кирова всё перевернуло вверх дном – стало темно и душно. Однако, жизнь брала свое и мы не унывали.

Единственное, что меня мучило, маяло, томило денно и ночью – невозможность не только обнять любимого, но даже просто посмотреть на него. И я ждала весны, терпеливо отсчитывая дни и ночи, любовно перебирая в памяти всё, с ним связанное, радостно торжествуя и, вместе с тем, впадая в уныние, если писем не было два дня.

И вдруг письма перестали приходить – отрезало.

<...>Прошла зима 35-го года – молчание. <...>

Прошел 36-й год – ни звука. <...>

Мой брат Миша Благинин, которого в просторечьи звали Михрюткой, в тридцать шестом году с отличием окончил среднюю школу и приехал в Москву. В ИФЛИ его приняли без вступительных экзаменов; он получил общежитие и небольшую стипендию, что пришлось кстати, ибо мои доходы были тогда более чем скромными. <...>

Мы помирали со смеху над дурацкими шарадами, которые нарочно усложняли и искажали так, что непосвященным сроду не удавалось их разгадать. Позже, когда вернулся Егор, мы бушевали уже втроем, и это было поистине гомерическое веселье.

Ни с того, ни с сего, среди серьезного разговора, Егор вдруг хитровато щурился и произносил, например, такую вещь:

– Второе частенько бывает в первом... Ну, а третье такой... такой хитрозаденький вопросик. Целое – это подруга Татьяны.

Некоторое время мы очумело глядели друг на дружку, а потом Михря начинал «сипеть», т.е. производить условный сипловато-хрипловатый звук, который принят был всеми за знак высшего удовольствия или благорасположения.

В данном случае это означало, что он догадался и горд.

– Можно? Можно? Я догадался.

– Ну, вали.

– Это зад – ум – чивось. «Задумчивость – её подруга».

И хохотал так, что хватался за бока, чуть не падал со стула и сипел, сипел.

Мы сочиняли бессмысленнейшие стихи – шутки, выдумывали фантастические истории друг про друга, читали множество стихов и беседовали с таким вкусом и упоением, как будто бы чувствовали краткость сосуществования.

Однажды, я ни с того, ни с сего:

– Евреи надели ливреи.

Михря, не сморгнув, в той же интонации:

– А шведы надели пледы.

Я: – Французы надели рейтузы.

Он: – А турки надели тужурки.

И пошла писать губерния! Мы одели множество национальностей. В игру включилась Муся Поступальская – мы «одевали народы» по почте, просыпались и одевали их ночью, и когда уж совсем иссякли, то стали хулиганить во-всю: венгерцы, например, надели шкафные дверцы. Кончилось всё это тем, что «монголы остались голы», а «эскимосы – босы».

Из нас прямо-таки пёрла веселая чушь. Сколько было смеху, когда появился такой стишок:

*Позавчерась по реке
Шла копченость в парике
И у той копчености
Видимость учености,
Никоторой сочности,
Признаки отёчности,
Вялые конечности
И все следы увечности. <...>*

Мы шли с Мишей по улице Горького и нам было весело. Стоял июнь, погода сияла, мы тоже. И как не сиять – расстались, наконец, с восьмиметровой конуркой в Александро-Невском и переехали в великолепный подвал – к Клеопатре. Она давно уже умудрилась обменять свою красивую, с зеркальными окнами, комнату на Арбате, и жила теперь в полной темноте и в полной зато тишине на Кузнецком мосту, в доме номер три. Её соседи уезжали из Москвы и согласились поменяться со мной, конечно, за доплату. И вот это свершилось!

Подвал был вычищен, отремонтирован, украшен изо всех сил. О, счастье! Впервые в жизни я могла запереться, никого не слышать, никого не видеть и вволю читать, писать, сочинять стихи. <...>

Теперь письма от Егора приходили каждый день. Осенью он должен был приехать в отпуск, так что передо мной стояла задача – как же это умудриться прожить июль, август и половину сентября? Уезжать никуда нельзя, ибо денег совсем не осталось: еле-еле сводили концы с концами. А хорошо бы прокатиться в Сухуми со своими друзьями – они собираются туда. Но ведь, как говорится, захочется – да перестанет; и еще: козе хотелось длинный хвост. Достаточно того, что дано судьбой в таком изобилии: он вернулся –

раз; второе – у меня отдельная комната и третье – кончились мои испытания и мучения с работой. Статья Сталина о перестраховщиках появилась во-время, а то бы не знаю, чем кончилась вся эта история с моей «чисткой» и вылетом-выгоном из издательства зимой 37-го знаменитого года.

В штат я больше не зачислялась – работала помаленьку дома. Стихи сыпались, как горох из мешка, печатали их в детских изданиях довольно охотно. Кроме того, понравились мои переводы с еврейского (Квитко) и я стала трудиться во-всю. <...>

Но как могла я веселиться, радоваться, жить в полную силу! Ведь ранней весной тридцать восьмого года был арестован и исчез Костя, тот самый любимый Костя, без которого, казалось бы, невозможно жить. <...>

Мы – все друзья, старались как-то скрасить это одичалое одиночество и растерянность. Кажется, нам удалось сделать это. Надо сказать, что в те времена считалось дивом, когда в доме арестованного с его семьей оставался кто-то, а не бежал, как от зачумленных. С тех пор дружба наша стала еще крепче, нежней и неразрывней.

Так вот – как же могла я веселиться, работать, быть даже счастливой? Очевидно, потому что просто жила – и всё.

В Сухуми всё сладилось удачно: погода расчудесная, здоровье завидное, да еще и деньги получила из Москвы, совсем неожиданные. Каждый день бегала на почту – письма с Медвежки теперь приходили сюда.

<...>

В сущности, и наши с Егором дела были из рук вон плохи: высылка его кончилась, но «хвост» оставался предлинный: ему дали минус 14, что означало: не имеешь права, смерд, совать носа в четырнадцать

крупных городов Союза. Стало быть, и в Москву Егор должен был приехать контрабандой, что по тем временам считались наирискованнейшим. И всё-таки молодость брала свое, хотелось верить в лучшее будущее и, когда всходило яростное сухумское светило, я принималась за свое: жадно, с каким-то чувственным наслаждением изживала каждый день, каждый час этого благословенного существования.

Румяная и толстая (об мостовую не расшибешь!) вернулась в Москву. Оставались считанные дни до встречи. <...> Я терялась, робела, мучилась и ждала, ждала, ждала. <...>

Пришла телеграмма: завтра в девять!

Встали мы с Патей на раннем-раннем рассвете. Еще раз подмели, стерли пыль. Полумертвая поехала на вокзал. <...>

В чем я была? Не помню. Как жаль, что не помню, какое на мне было платьишко. А он? Ничего не помню. *Как* встретились тоже не помню. Что ели, какой был обед? Как нас встретила Патя? Ничего, ничего не помню, кроме ощущения огромного, грозного, трагического счастья.

Осень стояла золотенькая, такая московская, светлая, совсем, совсем бездождная. Дни, возникая, опадали в кротким сияньи – неярко и грустно. Я жила остолбенело, часами разглядывая стул, на котором он только что сидел, и вдруг ушел, не сказавшись. Зачарованная смотрела, как он держит ложку в красивой нервной руке, или как двигается по комнате, оживленно что-то рассказывая, или как прикасается к вещам, точно запечатлевая в кончиках пальцев их форму.

Иногда мы куда-нибудь ездили погулять. Однажды поехали в Петровско-Разумовское, где бродили молча, я – разглядывая и не видя, Он – всё видя и не разглядывая. Мне казалось, что в нем идет какая-то борьба, что ему не по себе, что он в тяжелом раздумьи.

Прогулка в Петровско-Разумовское осталась в стихах – и у него и у меня. Мои стихи, к сожалению, сохранились, его найти не могу. Помню только:

*Пара в парке всё бредет –
Кавалер да барышня.
Тянет к ним глазастый плод
Розовый боярышник.*

А в письме пишет: «Остался ли у тебя в памяти феноменальный парк в Петровско-Разумовском? У меня, во мне он стоит, как очарованный, как милый, с тобой и о тебе». <...>

И вдруг он пропал. Обзвонила, обегала друзей и знакомых, потерялась в догадках. Одна казалась самой достоверной: арестован. Что же делать? Куда бесправной жене кинуться? Ведь даже на самую пустячную справку не могу рассчитывать – не дадут.

В самый разгар поисков и тревоги пришла повестка из приемной комиссии, в которой говорилось, что 3-го октября с.г. рассматривается моя кандидатура по приему в Союз Писателей. <...>

Кончилось всё благополучно – стихи понравились, щелкали фотоаппараты, кто-то что-то кричал о мастерском чтении, жали руки и т.д.

Ничего этого не оценив, я бросилась домой, в подвал. Уф! Телеграмма из Александрова: «Завтра приеду».

– Ура-а! Нашелся! Ура-а! <...>

Михрютка успел за короткое время сильно, по-юношески восторженно, полюбить Егора, оценив его по заслугам. Он тоже, бедный, сильно перетрусил и за меня и за него – за всё наше горькое счастье. <...>

Он приехал утром, я не стала ни о чем спрашивать, не захотела ни в чем упрекнуть: ему виднее. Ему тяжело, что же я буду трогать то, чего трогать

нельзя. А потом – к чему? Вот он здесь – и я снова смотрю (не насмотрюсь) на синие глаза, на тонкое лицо, сильно и страстно освещенное изнутри, на гибкую складную стремительнодвигающуюся фигуру, на точные жесты, с которыми он берет протянутый стакан или закуривает папиросу, или переставляет фигуры на шахматной доске. <...>

Оставались считанные дни отпуска – он должен был вернуться на Медвежку. В эти последние дни Егор стал холоден, замкнут, неласков и невесел. Опять ни о чем его не стала спрашивать, но страдала, конечно, ужасно. Чисто по-женски судила я так: «Ведь кратко наше счастье! Зачем же омрачать его? Разве от того, что ему тяжело, мне не тяжело? Почему же нам *вместе*, в духовном единении не прожить эти дни?» Но он, очевидно, судил иначе, и осудил меня на холод при расставании. <...>

Он уехал. Начались дожди, слякоть, грусть. Я не знала, как мне поступить. Если ехать к нему, значит лишиться работы, а стало быть обречь и его на полуголодное существование. Если остаться – значит жить вне его очарования и, что еще страшнее, своими руками отдать его *той женщине*, которую он любил страстно, я знала. Это ей посвящено полное сдержанной нежности, какое-то озаренное стихотворение о купаньи (оно у меня в Голицыне) и стихи о сером взоре...

Письма его той поры – зимы 38–39 г.г. были полны одним: «мне так хочется работать, а ведь какие бы я ни писал расколдованные стихи, это ж пока впустую. Так бы надо было сейчас хоть ерундовый заказ откуда не-то».

«Завидую тебе с твоим дивным хохлом» (это он о Шевченко).

«Знаешь, я бы с удовольствием пошел в дворники, я же здоровый, как свинья. Как ты думаешь, возьмут?» и т.д.

Но работы не было, т.е. ее *не давали*. Он пробовал делать кое-что самотеком, но даже талантливые инсценировки, переводы и прочее не шли, ибо автора боялись – неблагонадежен! Меж тем мужское его достоинство и самолюбие страдало и он часто писал об этом.

Зима 39-го года выдалась бесснежная – холодная, тяжкая. Началась финская война, в Москве народ кинулся «запасаться», так что за едой приходилось побегать – вставали на рассвете.

От Кости вестей всё еще никаких не приходило. Дима Бородаевский уехал на фронт. Я жила ошеломленно-грустно – ко всему прибавилась старая беда: Егору не удалось устроиться в Подмоскowie, так что он был вынужден снова вернуться на Медвежку.

Весь кусок времени, связанный с его «устройством», вспоминаю, как нечто невообразимо путанное. Он приехал ранней весной 39-го года ко мне в Голицыно, где я жила в Доме Писателей. Приехал совершенно измученный, отчужденный, какой-то скованный, одержимый тугой тревогой.

Серафима Ивановна Фонская – директор Дома – наитактичнее не поинтересовалась паспортом, так что мы могли немного отдохнуть и поразмыслить о том, что же делать дальше.

Я была в чести – мне дали в том 39-м году орден, а стало быть все мои материальные дела тотчас поправились. Радовалась, что хоть эта забота отпала. <...>

Стояла ранняя весна, мы много гуляли, беседовали с «постояльцами», пили вино, смеялись, дурачились. Но всё это – на людях. А наша жизнь напрягалась всё туже, становилась все безрадостнее.

В Москву вернулись в апреле – опять страхи и ужасы: целыми ночами, бывало, не спали, даже не ложились из боязни проверки. Спали днем. Жизнь шла шиворот-навыворот, как в дурном сне.

Когда немного просохла и провяла весна, поехали в Александров (помню, ездила с нами и Ольга)

и сняли там убийственную конуру за какие-то бешеные деньги. Тогда эти места – Александров, Малоярославец, Кашира, Егорьевск – были пристанищем таких людей, как мой муж, и с ними не стеснялись: их обдирали до нитки.

Комната, правда, выглядела преужасно: стены не до потолка, грязь, убожество, мухи и крики детей, ругань взрослых и прочее. <...> Хорошо еще, что в Александрове жил тогда опальный Сергей Бобров – Бобрик, – крупнейший прозаик современности нашей и образованнейший человек. И большой друг Егора. <...>

Так тянулось до конца июля.

Однажды Егор приехал, вяло позавтракал, неохотно пошутил с Патей и Анной Митрофановной, моей соседкой, а когда остались одни, сказал:

– Вынужден уехать на Медвежку. Там предлагают работу, а здесь... я здесь больше, милый, не могу.

– Не в работе дело, – сказала я. – Ты раздвоился, а это всегда тяжело. Выждал бы немного, глядишь, что-нибудь бы и вышло.

На это он мне – ни слова. Так мы и расстались – в который раз.

В Коктебеле жилось неуютно, а под конец и тревожно: из-за событий на Западе – думали – не пришлось бы там зимовать. Публика бросилась наутек, осаждая все виды транспорта, удирая даже пешком до Феодосии. По ночам у репродуктора стояли толпы, ожидая сообщений.

Мы – Катя, Эся, Мума и я, спокойно переждали панику и уехали в начале октября домой. <...>

Зимой сорокового-сорок первого года сделалось еще трудней: отец сильно болел диабетом, мама писала тревожные письма. Мы – дети – посоветовавшись, решили привезти стариков в Москву.

За ними ездила сестра Тоня. Ранней весной сорок первого года они приехали.

Поселиться в подвале, в одной комнате – невозможно. Значит, опять нужно искать комнату за городом. Её нашли в Столбовой, довольно далеко от Москвы. Электричек тогда еще не было, и жизнь моя сильно усложнилась, так как Столбовая от Москвы далеко – за Подольском.

Егор был со мной. Он приехал немного раньше, вдребезги замученный маятой, неудобью, неустройством. Последний год жил в Куйбышеве по чужим углам, за которые платил большие деньги. Мы резонно поступили, решив обосноваться в Подмосковье – всё-таки близко друг от друга и уютней.

И вот мне предстояло – кормить, одевать и платить за жилье (в трех разных местах), словом содержать пятерых: старики, мы с Егором и Михря. В этот огромный воз я впряглась с энергией непостижимой, как будто мне представилась возможность непрерывно праздновать и веселиться на балах.

Я летела в Столбовую, оттуда в Москву, из Москвы в Малоярославец, где поселился Егор, оттуда опять в Москву – на два-три дня, в течение которых затворялась и работала, как одержимая.

Сколько сумок с едой и гостинцами перетаскала, сколько справила одежды, белья, обуви, сколько подушек, тюфяков, одеял приспособила – один только Бог знает! И почему-то ничего не было в тягость. Чудеса!

Комната, которую мы сняли, была довольно обшарпанная, но с отдельным ходом; она оказалась приютом счастья для меня.

Счастьем казалось то, что удалось прописать Егора, то, что суровые хозяева пустили на постой, то что они не лезли каждую минуту, то что Егор мог продолжать работу над поэмой «Я видел», которую он начал в 40-м году, и главное, что каждую минуту я могла сесть в поезд и поехать туда – к нему.

Наша предельная нетребовательность опять со- служила хорошую службу: не заботясь о завтрашнем дне, не проклиная судьбу, не разбираясь в еде и одежде, – мы жили припеваючи, легко и свободно. А если бы Егору удалось хоть что-нибудь, хоть строчку напечатать, или получить хоть какую-нибудь постоянную, в смысле заработка, работу, то счастливей нас не нашлось бы людей на земле.

Стояло великолепное лето: всё цвело, сверкало по ночам соловьиным пеньем, благоухало, текло краткими дождями, сулило изобилье.

Мы надолго уходили в леса и на реку (Лужа). Не- обывновенная легкость и радость, почти ликующая, охватывала меня, когда мы входили в эти зеленые, полные шелеста и щебета чащи. То, что со мной ря- дом двигался, дышал, посвистывал, попрыгивал с кочки на кочку этот удивительный человек, делало меня, я не скажу счастливой, нет, а какой-то почти обожествленной что ли. Будто я была сопричастна- тайне, будто никто до меня не испытывал ничего по- похожего. Это было сладкое заблуждение всех любя- щих и всех любимых. Как хорошо!

Он читал мне новые куски из поэмы и я тотчас за- поминала их наизусть.

Помню, сильно поразила меня строфа о любви:

*Её найдет мой взор
В сердцебиенье,
Где розов разговор,
Где птичье пенье.
Мой сон ее похитит
В провалах, в ямах,
Где стон и крик – эпитет,
Но не из самых.
Как позывная весть
Моей любви.
Сокровище, вот здесь
Живи!*

Она до сих пор во мне – живет вместе с голосом и жестом, и взглядом синих глаз. Она звучит отзывом на гениальное:

*Ты тихий сумрак мой,
Которым грудь свежает,
Когда на западе заботливого дня
Мой отдыхает ум,
И сердце вечереет,
И тени смертные нисходят на меня.*
(Вяземский)

Так вот мы и жили – карабкаясь и наслаждаясь, преодолевая мужественно подтекст подозрительности и радуясь чистой дружественности тех, кто испытывал то же, что и мы.

Примерно в начале июня Егор прочел мне новый кусок из поэмы – о войне. Там были стихи:

*Война! Чей близкий контур
Мерцает ныне,
Война! Когтистый кондор
На мертвечине!*

Я оторопела:

– Господи! Откуда у тебя такие страшные предвидения? Он грустно-сдержанно:

– Это так и есть, милый!

Однажды в лесу мы подошли к огромной муравьиной куче. Она вся шевелилась в упорном ритме созидания. Муравьи вдохновенно сновали, волоча непостижимо громадные ноши. Другие – порожние, торопились по каким-то иным, не менее важным делам. Я положила легкую, сухую былинку на верх кучи – Боже, что началось! Как будто взрыв, как будто конец света! Всё задвигалось, заюлило, заползло напропалую – кто куда. Я осторожно сняла

былинку – и мы тихо отошли, сами напуганные переполохом.

– То-то, Медведь (это моя тогдашняя кличка) – не трогай никого в лесу! – сказал Егор.

Мне было 38, ему – 43. Мы были пожилые люди, изрядно замотанные и затурканные. Но никогда я не ощущала себя такой молодой, такой сильной, такой мужественной. Мне ничего не стоило съездить в Столбовую к родителям, провести с ними день, вернуться в Москву, проработать полночи, утром сесть в поезд (четыре часа езды) и отправиться в Малоярославец.

Проснулись от страшного воя впричет, от гнетущей, хватающей за сердце тоски. Я накинула халат и выбежала на кухню.

Там, обнявшись, стояли Анна Митрофановна, наша соседка, – и Нюра. Они выли, приговаривая что-то до такой степени жуткое, что волосы на голове шевелились. Тут же стояла Патя и громадными темными глазами молча смотрела на плачущих женщин.

Она бросилась ко мне на шею – и тоже залилась слезами.

– Лена, Лена, война! Молотов – речь! Сейчас! Только что!

Странное спокойствие овладело мной. Я успокоила женщин, распорядилась о завтраке, вернулась к мужу. Он лежал, уставясь в потолок, заложив руки за голову, и по его сухо сомкнутым губам пробежала судорога отвращения и боли...

А потом пошли люди. Их перебивало много в подвале, и почему-то все уходило успокоенные.

А потом, к вечеру, я уехала к старикам.

Выйдя из метро на Курском вокзале, остолбенела: передо мной судорожно кипел, ворошился, неистово и почти безмолвно крутился (все в одном ритме)

встревоженный малоярославский муравейник, встревоженный, увы, не былинкой.

После дождя наступили яркие, теплые дни такого сияющего лета, которого невозможно было припомнить даже старикам. <...>

Мы разрывались на части: курсы ПВО, дежурство во дворах и на крышах, поездки к родителям и к Егору в Малоярославец, куда он вынужден был всё-таки возвратиться. <...>

Один за другим уходили на фронт друзья и близкие. Пришло письмо от брата Мити, что он мобилизован (добровольно), и предлагает старикам переехать в Киров – к его жене и сыну. Всем нам показалось это разумным, тем более, что старики тяжело переживали налёты, которые становились всё более угрожающими. <...>

Михря в этом году кончил институт и получил назначение в Мордовскую АССР – в Кулясово.

Сегодня 19-ое мая – его рождение. Ему исполнился бы 61 год.

Сегодня был бы у нас пир горой. Больше всех суетился бы, конечно, виновник торжества. Я ужасно радовалась его радости приветить, до отвала накормить-напоить гостей, развеселить и утешить их. Его хлебосольство поражало людей. Он ведь не разбирался – кто в гостях. Был бы гость! Стоило появиться, например, курьеру из Детгиза, как он уже кричал:

– Алёна! Марья Исаковна пришла! Накрывай на стол. И Марья Исаковна садилась на почетное место и гостевала.

Или:

– Алёна! Вася пришел! (А Вася – это мусоропроводчик – стройный парень с высоким жезлом в руках, совсем как андерсеновский персонаж).

- Ну и что же? – говорю.
- Как? Накрывай на стол!
- О, Господи!

Но всё-таки сажаю и Васю – пусть отдохнет. Я всегда цитировала из «Одиссеи»:

«Странники! Мне уж теперь неудобно не будет спросить вас – кто вы, понеже уж пищею вы насладились довольно».

А ныне вот сижу в пустом доме и вспоминаю. Под бомбежками и обстрелом ездила я теперь в Малоярославец. Трудно было. Один раз поезда не шли – длился массированный налёт на Москву. Я сидела на краю огромной щели, наполненной людьми. Плакали дети, крихтели старики, а небо над Москвой точно спущенный занавес, полный огня, росчерков трассирующих пуль и кроваво колеблющимися отсветами. Мессершмидты шли волна за волной, надрывно вся. На рассвете дали отбой – поезд тронулся.

Уже не стало Книжной Палаты на Новинском, разрушен Вахтанговский театр (погиб актер Куза), бомба попала в ЦК (погиб Афиногенов); пылали дома, очереди у метро скапливались преогромные, и всё явственнее ползли слухи о тяжелом положении на фронтах.

Наш подвал сделался бомбоубежищем. У нас ночевало по двадцать человек – кто где.

Приближалась осень, а с ней вместе и немцы. Москву объявили осадной. Сирена не предупреждала теперь о налётах, они следовали один за другим. <...>

В конце августа уехал Егор – в Куйбышев. Развалилось карточное малоярославское счастье, опустела обжитая комната, опустело сердце – рядом никого.

На малоярославском вокзале сидели до рассвета, сплетя руки, прижавшись друг к другу. Самолеты перли на Москву один за другим, небо дрожало от рёва, от вспышек, от грохота зенитных орудий. <...>

Однажды меня известили, что эвакуируется Союз писателей, что эшелон уходит 14-го октября и что я должна 13-го получить билеты и все необходимые справки. Ну, думаю, если так обстоит дело, то надо ехать.

Прихожу 13-го в Союз – в милый дом на Поварской, где училась, куда хожу до сих пор по разным делам.

Что же вижу? Полная пустота! Какая-то женщина в синем халате сказала:

– И-и-и, голубушка! Все укатили еще позавчера.

– Как?

– А так...

В это время появился вдруг Матусовский. Мы поглядели друг на друга, и сколько же было в этом взгляде тоски, недоумения, тревоги и печали.

– Сволочи, сволочи! – сказал он и широко расставил руки для объятия. И мы – чужие друг другу люди, обнялись по-братски и разошлись. <...>

Утром пошла в ЦК Комсомола. Но и там пустота и раззор. Какой-то человек сказал, что если понадобится – вызовут.

Ошеломленная поплелась домой. Как же это? В такие дни предлагаю руки, сердце, душу – и вдруг: «понадобитесь», «вызовем». Странно!

А 16-го октября, которое в народе зовется «черным четвергом», началось повальное бегство. В воздухе носились тучи пепла от сожженных бумаг, волокни портреты Сталина куда-то (один дядька на Кузнецком мосту колотил портрет по лицу и злобно ругался), мчались грузовики с барахлом, легковые машины, тащились даже тачки, шли пешие с рюкзаками и без оных.

Стояла холодная погода с ранними заморозками. Свинцовое висело небо, озаряясь заревом пожаров, гудя и содрогаясь от близких боев. Нет! Надо уезжать! Но куда? Как? И тут явился Тонин муж – Фаня Кириллов и сказал: есть эшелон.

21 октября погрузились. С нами 16 мест – невообразимая роскошь при тех обстоятельствах. Взяли даже таз, ведро и кастрюли. Взяли мое пуховое одеяло и Клеопатрины ковры.

Трое суток стояли где-то возле депо на Курском вокзале, под обстрелом, под бомбежкой, в жутком слепом освещении холодных ночных ракет. <...>

23-го октября, после тяжелой бомбежки (бомба упала где-то совсем близко) тронулись в путь. Куда? Что ждет всех нас? Что будет с Москвой? Ничего неизвестно.

<...> Чем дальше, тем холоднее – пала зима. Бело. Через какое-то время объявили, что Свердловск закрыт для эвакуируемых – вылезайте.

Вылезли, выгрузилась. Все наши бабики свалили на перрон довольно красивого кирпичного вокзала. Где хоть мы? Красноуфимск. <...>

Так мы жили, оглушенные красотой этой ритуальной, высоко вознесенной над всеми зимами зимы. Медленно, медленно, как бы оттаивая, начали отзывать близкие и друзья. В этой заколдованной студеной тишине по-разному звучали их голоса.

Раздался скорбный крик матери: «Погиб Митя!» и вослед – краткая мольба отца: «Хочу умереть на теплых руках!».

«Из непомерной стужи» долетел родной возглас Михри: «Тяжко, сестра! А держаться надо!».

И вот он – долгожданный голос – мужественный и нежный: «Я только и думаю о том, как бы нам быть вместе!». И еще: «Сегодня особенно ждал письма от тебя, потому что сегодня ровно годовщина нашей с тобой последней жизни. И она полна для меня только горя!».

Нелюдимо наше горе <...>.

Зато в Красноуфимске оказался Гослит. Гослит «принял на довольствие», выдав нам одну карточку

в столовую, где не бог весть что давали на обед, но всё-таки. И потом – отрадно, что свои, да еще книжники и фарисеи. Особливо же всем (не только нам) помог Чагин Петр Иванович – человечище превосходнейший и наисердечнейший. Кабы не он, хлебнули бы мы горя еще больше.

Помаленьку начала работать в «Ленинском Пути» – разъездным репортером. <...>

Пришел крупный перевод из Детгиза – вышли две моих книжечки: «Подарок» и «Петрушка на крыше». И письмецо от Эсфири Михайловны Эмден и от Лидии Феликсовны Кон – такое сердечное! Детгиз в Кирове! О, счастье!

Сейчас же ответила и присоединила моление: «Сходите к моим старикам! Приветьте их!»

Сходили и приветили. И помогли.

Вот и радость!

А Егор продолжал мучиться на холодной печке в Куйбышеве, спасаясь вроде меня, в библиотеке, где просиживал целыми днями. И Михря продолжал мучиться в Кулясове, где злорадствовали: «Пожили барами в столице, хлебните горя в деревне!». И делали так, чтобы горе было погорше.

Все мы ломали голову – как перевезти волка, козу и капусту – и ничего не могли придумать. Если Егору ехать к Михре, то можно потерять даже тот хлеб, какой есть, ибо найти работу в Кулясове шансов мало.

Если ехать Михре и Егору к нам в Красноуфимск, то во-первых, Михрю не отпустит Районо. Егор же опять тут не получит работы, ибо заклеймён. Ехать мне к кому-нибудь из них – а мои как? Кроме того, лютейшая зима стояла в 42-м году, «а всякий раздет, разут».

Решили терпеть до весны. <...>

А между тем гослитовцы помаленьку разъезжались по домам, хотя на фронтах обстановка продол-

жала быть более чем напряженной, и Ленинград уже начал свою трагедию.

И вдруг Егор замолчал – перестал писать. Это было страшней всего. <...>

И я вдруг ожесточилась так, точно вся лютость, весь холод прожитой зимы заковал мое сердце тяжчайшей «кащевой цепью».

<...> Весна в Красноуфимске неопишима. Для того, чтобы как-то передать ее величие, нужно быть Гоголем или Сарьяном, ибо краски, звуки, освещение – всё непомерно, грандиозно и могущественно.

– Озеро-то воздохнуло, – сказала какая-то старуха, пробираясь через ручьи, и широко перекрестилась.

Взломала льды и тронулась Уфа. Солнце целыми днями ливнем лилось на сверкающую, орущую ребячьими и скотскими голосами землю! Лиловый, жирный чернозём дымился, ожидая севалей. И они слезли с печек – древние, бородатые, взяли лукошки и истово крестясь пошли наступлением на голод и войну. Ветер относил их бороды в стороны, а они красивым, округлым, точным движеньем правой руки бросали зерно в распаханное и распаханное, дымящееся лоно земли.

Когда (в прошлом году) увидела Настасью Микулишну Рериха, вспомнила этих севалей.

*Осень себя крестами
Вышли в поле севали.
– Ну, работнички-крестьяне,
Ай-люли!*

Г.О.

<...> «Как-то шла, спокойно разглядывая яркие зеленыя, холмистую даль за собой и перед собой, и вдруг перед глазами вырос, вспучился огромный массив черно-лиловой пашни, покоящейся под сильным ярилой-солнцем. Это было так неожиданно

и так прекрасно, что кровь во мне стала обжигающей, вязкой и всё, что казалось пропавшим – возродилось, мертвым – воскресло, угасшим – засияло.

На ночлеге, слезая утром с полатей, увидела хозяйку-солдатку. Она лежала на кровати у окна – огромная, красивая. Долго смотрела на нее, на её округлые бедра, стройные ноги, на грубое, чувственное, прекрасное лицо. И мне показалось, что она похожа на ту пашню. Да так оно на самом деле и было.

Идут бои на Керченском и Харьковском направлениях с сильным продвижением вперед.

От Егора – ни звука».

(Из дневника).

Я – в Москве, и Москва – во мне.

Темная, вернее черная. Тихая. На улицах мало народу и нет совершенно детей. Страшно без детей!

Налетов тоже, впрочем, – нету. <...>

Прорвалась домой с трудом – дали командировку. <...>

Стороной узнала, что Егор призван. И (что со мной?) не дрогнула. Впервые в жизни никак не откликнулась на зов, такой печальный:

«Еленка, родная моя, что ж ты-то мне не пишешь?.. То, что делается со мной и вокруг меня – предельно неопишимо...»

«Не серчай на меня, коли в чем провинился. Ты лучше бойся меня: жена обязана это делать. Обнимаю, целую тебя. Пиши обязательно. Твой Егор».

Все его письма той страшной зимы были наполнены одним: что случилось? Почему молчишь? Откликнись!

А я – заледенела.

Война обрывала-обворовывала семьи грубо и беззастенчиво, как рука хулигана – цветы.

В нашей семье не стало Мити, не стало отца. Ушел на фронт Егор. Когда теперь вспоминаю свое

ожесточение и нетерпимость к нему – диву даюсь. Как нелогично! Почему именно на сей раз изменила великому терпению и великой любви? Почему не простила, не приняла таким, каков есть?

Перестала отвечать на письма (с фронта они опять посыпались дождем), замкнулась – не простила. <...>

А письма продолжали идти. Куда я их дела? Осталась реденькая стайка, из которой выбираю наугад.

«Сегодня вечер каких-то страшных реминисценций, я как-то продохнул на мгновение от невообразимо-поганой кутерьмы последних месяцев: последние две-три ночи даже спал, разувшись и скинув оживленные брюки – так что вот пишу даже тебе. Душенька моя, я еще жив и кажется совершенно цел».

«Перечитай, ежели сохранились у тебя, мои стихи о Бобиньке-собаке. Да и всё «Устойчивое неравновесье». Кажется, это очень хорошо. Целую тебя, мой светик. Егор». <...>

«От тебя писем нет как нет. Почему это, мне абсолютно непонятно. Ничего хорошего этим доказать невозможно, а плохого о тебе и подумать не хочу...»

«Я пребываю в непрестанной оцепенелости, но помню всё резко и выпукло. Изумляюсь Лоркой, коли писал он на войне. Для меня это невысказано. Отомщу потом, если уцелеет сознание».

«Получил письмо от Квята: встретишь в Москве, приюти его. Он абсолютно редкий и настоящий человек».

«Ленка, чего ты молчишь, как сыч, как-су*. Я хоть одичал от одиночества и свинства, но жив, цел и здрав. Очень беспокоит твое молчанье».

* «Каксу» – это значит вот что: он ненавидел дамские сумки, и у него была поговорка: «Какая гадость, как сумка!» А сократилось в «каксу».

«Что и где Михря? Как живет и здравствует Бакен?»* Всех, всех обнимай и приветствуй. Целую тебя. Егор».

Москва помаленьку наполнялась. Вернулся Детгиз, Радиокomiteт, полностью возвратился Гослит.

Петр Иванович Чагин помог мне перетащить не только маму и Тоню, но и Клеопёсика, сделав из него «переводчицу с греческого языка». Вот смеху было! <...>

Меж тем на фронтах дела пошли лучше: всё чаще взмывали в небо фейерверки салютов, и Москва нарядилась в скромные ожерелья синих огней. Ходить по ночам стало легче, и легче дышать от предчувствия еще более крупных побед.

Хлопоты мои о переводе Михри из Кулясова в Подмосковье увенчались успехом: Михря вернулся осенью 43-го года – худой, слабый, совершенно подавленный от счастья. <...>

Когда Михря расспрашивал меня, что произошло у нас с Егором, я толком ничего не могла объяснить.

– Понимаешь, Михря, письмо он прислал *о той женщине*. Письмо пришло в конце зимы сорок второго. Красноуфимск ведь был подвигом для нас с Тоней. Мы жили в перенапряжении всех сил душевных и телесных, а он – своё. Я сочла это письмо наивысшей бестактностью и... не простила.

Он, подумав:

– Но ведь теперь Егор на фронте. Ты понимаешь, Каме, *на фронте*. И пишет *такие* письма.

Я, злобно упорствуя:

– Не могу, не могу...

– Напрасно. Он совершенно удивительный человек. Он просто неповторимый, как ты этого не понимаешь?

Но я вдруг перестала это понимать.

* Это кличка Клеопатры, которая мечтала о лежачей (!!)-работе. Егор предложил: – Валите бакеном на Оку!

<...> Егор в конце лета сорок третьего приезжал на побывку. Господи, какой худющий, ну просто муравей! Скулы обтянуты, в глазах – поблекшая синева.

Накормила, дала с собой хлебца и сахару немного – разговора не произошло. Уехал вчуже, а я вчуже осталась. <...>

Сорок третий подходил к концу. В сорок третьем случилось много: умер Костя Блэклов в Магадане – так мы и не дождалась его! Умер Саша Абрамов – муж Муси Поступальской. Погиб Миша Гершензон. Остался в Красноуфимске наш бедный папка. Ушел на фронт (добровольно) Бориска Беклешев. Ушел Паша Асанов. Дима Бородаевский погиб еще в 40-м – на финском. Выслали (а может быть раньше?) Эйхлера с семьей и Юру Райхберга. Нашли тоже немцев! <...>

Весной, как я уже говорила, призвали Михрю. И пошло-поплелось тягчайшее в моей жизни лето. Я думала, тяжелее красноуфимского быта ничего придумать нельзя. Какое заблуждение!

В мае открылся второй фронт – союзные войска высадились на северном побережье Франции. Эйзенхауэр напутствовал их. Произнес речь Черчилль. Опять, еще сильнее, возродились надежды.

«Егор был в Москве целый месяц. Принимала его холодно и отчужденно, а теперь жалею. Ведь всё-таки он муж мой и никого у меня нет, кроме него» (из дневника).

Приехал он в августе с остатками своей дивизии на переформирование. Перспективы убийственные: посылали на фронт в качестве орудийной прислуги (при самоходных орудиях).

Я очнулась – что же это? Как бы то ни было, а отдать его так вот, ни за грош – нет, не могу!

И я пошла обивать пороги всяких важных, не очень важных и совсем неважных учреждений.

Ходила напрапалую – всюду: в Президиум Союза, в Наркомат Обороны, в ЦК – куда несли ноги и приказывало сердце.

Однажды, умучившись, зашла в клуб пообедать. Вдруг подходит ко мне кто-то высокий, худой-прехудой.

– Что, матушка Алёна Александровна, уж больно худа-бледна?

Гляжу – Григорьев Николай Федорович.

– Да что ж, – говорю, – делать-то! Не с чего вроде справной быть!

– А что такое?

Ну, рассказала ему всё об Егоре. И тут впервые за все эти тяжелые дни увидела живое внимание в глазах, тревогу и раздумье.

Он возился со мной неистово, звонил по бесчисленным телефонам, поехал к какому-то начальству, потом поехал еще к кому-то высокому и, наконец, передал Егора в распоряжение генерала танковых войск Тарановича – в лагерь под Загорском (Новый Вифлеем). <...>

А Егор?

Вот что записано в дневнике:

«Уехал, спасибо не сказал. Вообще ничего не сказал на прощанье. А душа всё-таки болит. Приедет в этот страшный лагерь, где темно и одиноко, как в беспрерывной ночи».

<...> Похоронка о Михре пришла восьмого сентября 1944 года, в ясный, свежий, теплый день. Получив ее, я села на пол и долго сидела, с недоумением поглядывая на Патю и Анну Митрофановну, то и дело заглядывавших в комнату.

<...> Потом согласилась вести по радио журнал для детей и вела его, весьма впрочем недолго – прикрыли по соображениям политической невыдержанности.

А потом – весной, пришла Победа и мы с мамой (в который раз!) сидели молча, не плакали, ничего не говорили друг другу о сокровенном.

В подвале попрежнему стоял холод – стены не отходили никак. Решила на лето уехать куда-нибудь. Подумав, сняла сараюшку в Переделкине. Сараюшка была отдельная, очень сырая, но уютная – с крошечной крытой верандой, заросшей вьюнками. Сюда приезжала иногда мама и мы слушали соловьев – их было много в ивняке над Сетунью. <...>

Егор демобилизовался в конце лета, и я (писать даже страшно!) была не рада ему. К тому времени я перебралась из сараюшки в избу, потому что стояли дождливые дни, в сараюшке стало холодно и сыро, и я переехала.

Егор пожил недолго и отправился устраивать свои вполне неустроенные дела, а я вернулась в Москву. <...>

Время шло. Миновал сорок пятый, наступил срок шестой год. Егор жил в Хлебном – у себя. Было ему там тоже не легко, я думаю. У жены и дочери на счету тоже немало всячины водилось, что и говорить.

Однажды приехала к Злобиным на какой-то званный вечер. Гляжу – там Егор.

Пошел меня провожать. Ночь сырая, темная. Он в каком-то затрапезьи – худой и грустный.

Шли, шли, молчали. Вдруг он:

– Доколе же будет так продолжаться?

И я вдруг рассмеялась и всё, всё у меня прошло – отлегло от сердца. Так сделалось хорошо, так вольно, так просто, – впервые после смерти Михри.

И я сказала:

– Идем, идем уж домой, мучение мое милое!

И мы навечно вернулись «домой».

Жили трудно. Как все. Наги и босы – не знали, какие дырки прежде всего затыкать. Егор как пришел из армии, так и остался в армейском обмундировании – застиранная гимнастерка, штаны залитые тавотом, шинелька. Наступила зима – хлад, в шинельке студено. Эрна Гофман подарила старый ватник (он до сих пор еще цел), который по выражению Пати сидел на Егоре, как смокинг. И правда, посмотрю где-нибудь в общественном месте на Егора отстраненно – изящный человек. Не портит его одежда.

На Преображенском рынке купили с рук поношенные ботинки и литые калоши. Обут! Ура! Там же «отхватили» драповое грубошерстное пальто. Опять праздник. А к мамину рождению, верней к именинам (10 ноября) Егор совсем принарядился: купил первый послевоенный костюм – темный в сероватую полоску. Явился таким франтом и так ликовал при этом – как ребенок, получивший долгожданную игрушку.

Ему «позволили» работать. В «Советском Писателе» главным редактором был наш однокашник Сергей Петрович Бородин, хорошо знавший возможности Егора. Он дал ему на редактуру и переводы грузинских поэтов. Ко всем радостям прибавилась полная реабилитация, прописка и прочее, со всем этим связанное. Мы совсем окрылились, как вдруг, в середине зимы, Егор тяжело заболел воспалением легких.

Когда он легко заболел, ну например гриппом, то был капризен и почти невыносим. Но тяжело болея, становился кроток, беспомощен и трогателен, как собака (в нем вообще было много собачьего: тонкий нюх, выражение глаз – чистое и умное, глубокое благородство и превосходное чувство ориентации).

Все мы сбились с ног, вызволяя больного. Пенициллин был бешено дорог, но всё же мы достали его

и спасли нашего вояку, который в бреду всё трогал стены и кричал: «Я в гробу! Меня схоронили живьем!» И всё шупал стены и куда-то порывался бежать. Наконец, кризис миновал и Егор начал поправляться. Он быстро набирал силы и вскорости начал ходить по комнате. Когда я рассказала ему, чем он бредил, он сделался серьезным и сказал:

– Ты, Козлик, непременно сожги меня, когда я по-мру, потому что боюсь быть заживо погребенным.

Егор начал «мстить» – наверстывать упущенное время. Работал он бешено. За сорок седьмой, сорок восьмой, сорок девятый и пятидесятый годы он написал циклы – «Вира-майна», «Свидетель», «Постскрипtum», включающие шестьдесят стихотворений, одно другого лучше. В этих стихах отчетливо прозвучала интонация простая, суровая, мужественная – интонация ухода от вычурности, словолюбования, смысловой зауми, от всего того, что предельно ясно выражено в стихотворении «Скафандр».

Кроме этих циклов, во всю пошла поэма «Я видел», начатая в сороковом году. К пятидесятому году было написано пять песен – всего, с четырьмя довоенными составило девять песен. Десятая написана в пятьдесят втором – сухо и поспешно. Пеняла – зачем торопишься, почему не развернешь пошире, для чего снижаешь замысел и т.д. Молчал. Переводил разговор на другое. Потом уже поняла – *знал, что умирает*.

Начинать жизнь сначала в пожилом возрасте – дело нелегкое. Оба тайно мучились. Мои отъезды тревожили Егора, пугали, как потом выяснилось, преужасно. А мне казались страшными не частые отлучки мужа незнамо куда, а его стихи, такие, например, как «Серый взор». <...> Потом я собралась с духом и решила опять сделать выбор: или прини-

мать какой есть, или – разлука. Выбрала первое и не ошиблась.

<...> Он увидел, что я нимало не интересуюсь, где он пропадает, и стал помаленьку прибиваться к дому, где всегда ждала его тишина и ласка. Как мне теперь кажется, он был немного ошеломлен таким отношением, и не всё в нем ему нравилось: пугало непонятное спокойствие. Гляжу, неделю сидит дома, другую... Я, конечно, рада без памяти, но виду не показываю – всё такая ж.

Помаленьку, медленно, медленно, туго-претуго прорастали ростки прежнего счастья – зарождалась шутка, возвращался смех, потянулись гости к скудному столу.

Егор стал приносить гонорары, торжественно высыпал купюры прямо из карманов на стол, а то и на пол. При этом глаза его так и сияли, вот, мол, наконец-то и я могу тебе помочь, козёл мой бедный. <...>

В сорок седьмом году ждали выхода моей книжки детских стихов. Помечтовывали о рояле.

Егор был хороший музыкант: *глубоко* знал музыку, обладал безупречным вкусом, на рояле играл отлично. Мы не знали, куда поставить инструмент, но эта забота отпала, ибо в связи с денежной реформой гонорар мой катастрофически «унизился». Хотели: «старому жениться – ночь коротка!»

После реформы и отмены карточек все вздохнули. В булочных люди стояли и ели хлеб, как теперь в кондитерских едят пирожное. Дети сосали леденцы. В поездах уезжали огромные связки бубликов, мешки батонов, буханок, сахару, крупы и прочей снеди.

Гостеванья проходили теперь под знаком пирогов, студней, селедок и колбасы. Вспоминали с горестным недоумением: как это схитрились упасти свои животы в лихие години?

Хозяйство вела Пятя.

Иногда она спрашивала, отходя ко сну:

– А ты знаешь, сколько народу перебивало сегодня?

– Сколько же?

Шестнадцать человек!

И делала круглые глаза.

Весной сорок восьмого уехали в Голицынский Дом Писателей. <...>

Мы всегда (еще и до войны) занимали шестой номер – на втором этаже. Эта двухоконная светлая комната осталась навсегда в моей памяти, как символ чего-то счастливого, немного таинственного и значительного. Лежу, бывало, в постели утром (я всегда опаздывала к завтраку) и слушаю, как звенит посуда в столовой, за окнами шумит сырой мартовский ветер, и вдруг – по лестнице частые легкие шаги, дверь нараспашку, в дверях – он, сияющий, выбритый, вымытый-перевымытый:

– Ах, Козлище! Всё нежишься! Вставай, вставай скорее!

И ну тормошить меня, стаскивать одеяло, и целовать легкими-легкими прикосновеньями часто-часто, как будто свежий дождик сыплется, как будто и не я это вовсе, а березка что ли на рассветном ветру.

За завтраком веселье – обхохочешься. На одном конце стола Егор, на другом – Иван Федорович Попов. Эти два заводилы и колдуна устраивали такую словопрю, что невозможно было уйти никак из-за стола. Случалось, просиживали до обеда, покатываясь со смеха, наслаждаясь высоким остроумием одного и другого.

А какие разговоры, боже милостивый! И о музыке, и о театре, и о живописи, и о Ленине, вместе с которым Иван Федорович работал в эмиграции. Тогда же он прочел нам «Семью». <...>

В те дни сорок восьмого года <...> ходила смело, куда зря, и редко путалась.

Мы жили на даче у Соколова Елисея Федоровича, на Нарофоминском проспекте. У нас были две маленькие комнатки и терраска – всё более чем скромное.

Машин тогда в заведении не было. Постель, рюкзак, чемодан – вот все вещи, которые перетащили на себе с помощью Лизы – нашей старой помощницы.

Накрахмалив и разутюжив марлю и развесив «тряпочки» (сюзаны, коврики и прочее), я учинила такое уютище, что все диву давались.

Славно мы зажили с Егором. По утрам пили кофе на терраске. После завтрака он садился работать, а я убегала с хозяйским псом Джульбарсом в лес и возвращалась к обеду. Обедали мы в Доме Писателей. К обеду я переодевалась, – надевала что-нибудь светленькое, ситцевое, и вся внутренне сияя, шла рядом с ним, изредка поглядывая на него – не сон ли это? Но нет, он шагал рядом – прелестный и мой.

В Доме всегда были рады нам. Обедали весело, долго. Задерживались иногда до чая, а от чая – до ужина. Впрочем, я часто уходила – мне нравилось побыть наедине со своим счастьем, нравилось *ждать его*. И вот звякнет калитка, песок хрустит под ногами, и он вбегает, как всегда оживленный, смеющийся, милый до того, что онемеешь, бывало, от радости, глядя на него.

На терраске – ужин, цветы в глиняных горшках, бедная керосиновая лампа – так уютно. Кто-нибудь из друзей забредет – опять хорошо. В то лето мы познакомились и подружились со Славиными; жили в Голицыне Гладкие Наташа и Сергей Павлович, Бобровы – Машенька и тоже Сергей Павлович – превосходный писатель, шахматист и математик. Великого ума человек и великий капризник. <...>

Правда, у нас не водились деньги, приходилось туго. Однажды утром за кофе говорю Егору, который собрался по каким-то делам в Москву:

– Смотри, не заложил там фамильные бра (мы всё утро играли в «старосоветских» помещиков).

Он, морщась от смеха:

– Боюсь, не заложить бы мне последних брю...

Но в августе он вдруг уехал. Достал где-то путевку (в Палангу что ли) и уехал. Так ясно вижу его ладную фигуру в синем костюме, очень элегантном, с маленьким чемоданом в руках. Он стоит у калитки вполоборота ко мне, глаза синие, по губам блуждает милая такая улыбка. Он сжимает и разжимает пальцы поднятой руки (очень его жест) и:

– Буздрик! Буздрик!

(Это значит: будь здоров, будь здоров. Так он звал кота, спасенного из рук мучителей-мальчишек и очень любимого всеми нами. Потом его всё-таки убили!).

Я осталась одна – довольно опечаленная. Впрочем, следуя своему правилу – не стала интересоваться – с кем уехал, что там делал, – а взяла да в сентябре, когда он уже вернулся, удрала в Коктебель, не подумав даже предупредить его об отъезде. Это не было мщеньем. Это было просто своеобразным уговором – свобода, так свобода. Пусть она не будет односторонней. И он отлично это понял, так что никаких объяснений и сцен не последовало. <...>

Зима тоже удалась: концерты, молодежь литературная (очень хорошая), друзья, друзья, друзья. Пятя расцвела, глядя на наше счастье. Она, милый мой друг, жила нами и только нами.

В начале января праздновали юбилей Квитко. Праздник удался на славу. Мы с Егором получили приглашение и на домашний банкет к юбиляру. Там собрались «сливки» детской литературы: Маршак,

Барто, Кассиль, Чуковский, Андронников и еще кто-то, и еще кто-то – много.

Развернутый в неоглядную длину стол в кабинете Льва Моисеевича странным образом не понравился мне. Дико прозвучало в мозгу, молнией и громом:

Где стол был яств, там гроб стоит...

Прогнала, обругала себя кликушей, забыла.

Но однажды вечером Егор вернулся домой грустный и, подавая мне шубу, сказал:

– Пойдем ко вдове Квитко...

А.А. Фадеев прислал мне письмо, в котором заверял, что квартиру я получу всенепременно и скоро. Обрадовались. Подвал сделался совсем плохим – сырым, промозглым, шумным. Мои «ангельчики» (мама и Егор) беспрерывно враждовали. А тут я еще тяжело стала хворать, пугая и того и другого. Впрочем, беспокойство и испуги нисколько не смягчили «международной напряженности».

Но время шло, никакой квартиры нам не давали, и мы продолжали мыкаться по дачам и Домам творчества. <...>

Однажды после обеда гуляли с Любой Воронковой по Голицыну. Погода стояла на редкость хорошая: легкий морозец, снежок, свежесть, белизна. Вот я и говорю:

– Были б деньги, купила бы дачу, ей-богу!

А она:

– Давай ходить и смотреть, ну просто так...

И мы пошли смотреть продающиеся дачи. Игра нам понравилась: интересно ведь притвориться богатырями и с важным видом рассматривать помещения и вести переговоры. Нас всюду принимали всерьез, а мы так вошли в роль, что и глазом не моргали.

Стучимся. Дверь отворяет высокий дядя с довольно интеллигентным лицом.

– У вас продается дача?

– Да. Пожалуйста! <...>

И я достала пять тысяч и надела ярмо.

Опускаю всё тяжкое, что случилось потом в этом доме и оставляю всё светлое, связанное с ним.

Егор полюбил, привязался к нашему дому. Он охотно рассказывал о нем и еще охотнее показывал его друзьям. Дом всем нравился. Он, правда, хороший – с домовым. Его любят, в нем с удовольствием живут, гостят и просто так – навещают. <...>

Зиму пятьдесят первого года мы прожили вместе с хозяевами – водой нас, бывало, не разольёшь. А потом отделились – сделали отдельный ход, отремонтировали террасу, застлали под линолеумом – стало совсем хорошо. Мебели никакой лишней не привезли – всё самое необходимое. Поэтому в доме просторно и очень чисто – ни пылинки.

Я так и не испытала никаких собственных чувств. Мне совершенно безразлично – есть дом или нет. Мне только важно было – Егор у причала. Ведь он так замучился последние годы жизни. Его опять перестали печатать, не давали никакой работы. В «Литературной газете» (кажется в 49-м году) появилась подлая статья Гольцева, после которой и начался новый цикл гонений. Егору приходилось довольствоваться тем, что он помогал мне переводить разную чепуху, которой у меня всегда бывало много – я ни от чего тогда не отказывалась, ибо нужно было содержать семью, два дома, помогать брату Саше, помогать Пате и т.д.

Правда, работала не за страх, а за совесть, и даже какой-то «благожелатель» сказал, что я работаю «с коммерческим блеском».

Пока он жил и дышал рядом, мне всё было *легко* и радостно: мыть посуду, топить печи, сажать цветы, писать стихи и переводить по целым ночам разные разности.

А тут еще забота – всё-таки дали в 52-м году квартиру, совершенно отдельную, со всеми «онерами» (мусоропровод, ванна, телефон). Мы даже опешили – как? Ведь отказано было напрочь!

Я хотела было продать дачу, но... Егор посмотрел на меня таким умоляющим взором, что и помыслить нельзя было. Действительно, в новой квартире он почти не жил. И не любил ее за шум, за громадность (вот логика!), за отдаленность от центра. Когда мы переехали, он продолжал жить в Голицыне, спешно заканчивая поэму.

За годы сорок восьмой – пятьдесят второй он написал «Царицу Неверю» (по Пушкинской «Сказке о мертвой царевне» – для пушкинского юбилея. Спектакль был заказан Центральным Детским Театром и, конечно, не состоялся из-за того, что автор посмел стилизовать пушкинский хорей.) Потом сделал сценический вариант «Графа Нулина», закончив, как я уже говорила, поэму «Я видел» и написал ряд стихов («Соловей», «Нам бы», «Отставший», «Стигматы» и другие, которые вошли в разделы «Свидетель» и «Пост-скрипtum»).

И всё равно ничего из этих вещей не напечаталось.

Году в пятьдесят первом что ли, попытались дать поэму в отрывках в «Знамени». Из этой попытки ничего, кроме лишней боли (на боль) не вышло. Рецензия была на редкость грубая (некто Горностаев. Кто хоть он?).

Зимой пятьдесят второго мы работали над переводами из Пабло Неруды. Тишина, теплынь. Я сижу в столовой за круглым столом, он – у себя.

Выйду покурить не терраску, стекла в алмазах, чисто и жарко переливаются в сумеречном свете зимнего вечера. Дверь отворю, высунусь: елка тянет ко мне доверчивую лапу, полную снега и тишины. Небо си-

нё, торжественно – в нем переливчатое шевеление, перешептывание, трепетное сияние. Хорошо!

Вернусь в комнаты – опять за работу.

Вдруг милый голос:

– Послушай, как по-твоему?

И начинает читать очередной кусок.

Переводы его первосортны, великолепны (из Неруды), но никому они, оказалось, не нужны. Теперь, при переиздании, и его и мои главы выброшены и переведены заново.

Весной перебрались в новую квартиру.

Мы устраивались в Великий четверг – на Страстной. Мама пошла к двенадцати евангелиям, а мы – я, Тоня, Егор и работница Лиза, – принялись за дела. Возились неистово. Егор кричал:

– Нет, я не барин, я другой!

И делал указания одно смешнее другого.

В середине мая, как-то рано утром раздался звонок. Открываю – никого, а у дверей сидит котенок, худой как доска, хвост длинный, тонкий. На острой мордочке громадные, полные испуга глаза.

Выскочил Егор и возопил:

– Да ведь это Буздрик! Буздрик! Попробуйте только выгнать!

И бросился к котенку. Котенок от страха забился меж лестницей и клеткой лифта. Мы с трудом его оттуда извлекли.

Скоро Буздрик превратился в прелестного, откормленного зверя, игривого и забавного. Егор души в нем не чаял. Он вообще любил животных глубоко и скорбно. Это ему принадлежат строки: «Существование животных трагично», которые я цитирую в стихотворении «Собака моего детства».

В середине октября Егор с Буздриком вернулись в Москву. К этому времени мы обжились, квартира

стала уютней, милее, но Егор всё равно ее не любил.

Десятого февраля 1953 года мама задумала печь блины – была масленица. Егор целый день или молча сидел за письменным столом, раскладывая пасьянс, или лежал, что мне показалось подозрительным, ибо он никогда не лежал днем. Я спросила:

– Ты здоров ли?

– Голова немножко побаливает...

Он лежал в Боткинской больнице, в 11-м корпусе – наверху. Мест не было и его положили в коридоре. Я, по существу, жила в больнице и видела, что ни днем, ни ночью покоя больным не было: бесчисленные хождения мимо коек, непрерывный шум, бесконечное мельтешение няnek, врачей, сестер, студентов. <...>

Как-то раз я прихожу, а он смотрит на меня враждебно, отчужденно, и вдруг, на взрыде:

– Милый! Милый! Я сошел с ума! Да, да. Не говори мне ничего в утешенье – я сошел с ума.

И стал плакать, и стал целовать мне руки:

– За стеной, слышишь, Прокофьев сочиняет кантату!

Волосы зашевелились на голове моей.

– Да что ты, голубчик мой родной, опомнись! – говорю. – Да разве сумасшедшие-то понимают, что они сумасшедшие? Рассуди-ка здраво!

Он поднял на меня глаза, спокойные, сразу сделавшиеся совершенно ясными и:

– Боже правый! Действительно! Ах, Козлик, какой же ты у меня умный Козлице!

И он вышел из этого состояния надолго. То есть, в сущности, навсегда.

Меня в больнице уже считали своим человеком. Приходила, когда хотела, халат и шапочка делали меня похожей на врача или сестру. А один раз какой-то молодой человек (практикант что-ли!) назвал меня даже профессором. Я носила бесчисленные

передачи – шесть, семь каждый раз, так как Егор, прощаясь со мной, говорил: «Козлик, а там вон в том углу видишь, старичок? Так к нему никто, никто никогда не ходит. И еще вон тот – молодой солдат, ну, сама понимаешь, солдат...

И я несла и старику, и солдату, и пятому и десятому.

В марте умер Сталин. Мы все плакали и боялась. Егор оставался спокойным – он слишком хорошо знал уже тогда, что такое Сталин. Но как же он убивался, когда узнал о смерти Прокофьева! Я опять испугалась, но тут скорбь была здоровой и потому логичной.

В конце марта его выписали. Слабого, сильно постаревшего, утратившего блеск интеллекта, я привезла его в Голицыно.

<...> Общественно я почему-то была тогда очень одинока. Никто не звонил ниоткуда – ни из Детгиза, ни из Группкома, ни из Союза Писателей. Один только раз пришел врач из Литфонда проверить – не симулирую ли я болезнь (взяла бюллетень, ибо очень плохо чувствовала себя). Он застал меня в больничном халате (Егору ставили пьетки), изнеможенную и грустную. Я сказала ему напрямик, что оскорблена подозрениями и удивлена тем, что он – старый доктор – взял на себя такую сомнительную миссию. А главному врачу написала соответствующее письмо. На том общественная забота обо мне и кончилась. <...>

Народ попрежнему любил бывать у нас. Как-то приезжаю из города, встречает меня на вокзале Лиза:

– Ой, Елена Александровна! Что у нас творится-то!

– Что такое?

– Народу-то полный дом! А Егор Николаевич всё-то из шкапа вытащил – и варенье, и наливки, и конфеты – да навалом, навалом на стол! Да батюшки мои!

Я смеюсь:

– Ничего, Лиза, ты скоро к этому привыкнешь!

И она, действительно, привыкла очень скоро.

Лето стояло дождливое. Но мы всё равно, как всегда, пропадали в лесу. И Егор иногда ходил с нами.

Однажды мы пошли с ним вдвоем. Побродили, набрали грибков (он был завзятый грибник) – возвращаемся.

Вдруг он схватил меня за руку:

– Скорей, скорей, на меня валятся сосны! <...>

Осенью мы «поженились». В ЗАГС'е над нами подшучивали мягко, поздравляли. Мы одарили девушек шоколадом. Егор потешал их всякими прибаутками:

Шумел, как муж, хоть был невенчан!

Они помирали со смеху: «Вот бы почаще такие "молодые"»!

После «законного брака» он вернулся в Голицыно, а я осталась в Москве – мне нужно было работать много. И я работала много, ни от чего не отказываясь, ничем не гнушаясь.

Пал Берия. Егор говорил когда-то, в расцвет его славы и «деятельности»:

– Эта фана-Берия когда-нибудь кончится.

И она кончилась. <...>

14-го марта были выборы и мы приехали в Москву.

13-го я стала купать Егора, выбежала на минутку из ванной за простыней, и он упал там, тяжело разбившись о борт. Его увезли на «скорой» опять глубокой ночью.

По ночам я снова и снова принимаю его окровавленное тело в свои руки, и кровь течет по мне, течет, течет, и я смотрю в мученическое лицо, в эти незакатные глаза:

– Не беспокойся, Козлик!

Он вышел из больницы в мае месяце – в начале мая. Он всё-таки и на этот раз справился, но только очень внешне.

И я вывезла Егора в Голицыно – в последний раз. Этот августовский день был особенно светел, просторен и тих.

Егор сидел в своей комнате, как всегда раскладывая пасьянс. А я, закончив уборку дома, принялась разбирать белье в комоде.

Вдруг Егор вышел, стал в дверях, потянулся и сказал:

– Пойду, пожалуй, погуляю немного. <...>

Прошло часа полтора. Вдруг вижу – Илья Мионович* на пороге и какой-то не такой, как всегда – уж слишком спокойный и вместе с тем смущенный:

– Елена Александровна, – говорит, – Егор Николаевич у нас. И он просит вас прийти – голова у него заболела...

На диване лежал Егор.

Я упала на колени, припала к этой руке, такой прекрасной, положила ее на грудь. Заглянула в глаза – они утомленно закрылись:

– Не волнуйся. Козлик! Как ты себя чувствуешь?

И больше он ничего-ничего, никогда не сказал мне.

В 9 часов он вдруг приподнялся, рванулся из моих рук и упал на подушки. Он умер.

Потом пришла ночь и я даже спала немного. И настало утро. И тогда я совсем забыла, что он умер, и мне даже поскорее хотелось вынести того, который не хочет откликаться, чтобы вернуться к тому, кто дома и раскладывает пасьянс и поёт «выходили замуж собаки» и смотрит таким чудесным сияющим взором, и пререкается с «тещи́змом» и напевает Глюка и одаривает детей леденцами. <...>

Он лежал полный удовлетворенности, покоя, красоты. Кровоподтёки исчезли. Губы, чуть-чуть приподнятые уголками кверху, слабо улыбались. И вдруг я содрогнулась – похож на Пушкина!

* Илья Мионович – дачник. С ним Егор играл в шахматы.

Повалил народ. Он шел и шел – без конца: старухи, дети, юноши, девушки, неизвестные мной, известные им.

Еще помню – по дорожке сада, вся озаренная солнцем, шла Ахматова. Я двинулась ей навстречу и мы встретились и долго смотрела в глаза друг другу. И обнялись.

Она прошла в дом – к нему.

И он сторел. Осталась маленькая капсула с прахом, который покоится на Голицынском кладбище под мраморной доской с надписью: «Георгий Николаевич Оболдуев. 1898–1954». Вокруг могилы посадила елочки, и они разрослись – за семь лет стали такие высоконогие, лохматые. <...>

Я скоро умру и хочу, чтобы эти слабые заметы остались на земле для того, чтобы хоть крупинцы знания о нем дошли до потомков, ибо убеждена, что судьба столкнула меня с большим поэтом, да простит мне Бог такую нескромность! Что делать? Я свято этому верю.

<...> Еще одно: у него есть внуки – Наташа Миловинова и Егор Гусев – от дочери Василисы Егоровны Оболдуевой, в просторечьи – Васьки. С её матерью, Ниной Фалалеевной Оболдуевой, мы в хороших отношениях были, есть и будем. Ей, как и мне, выпала большая честь и радость жить рядом с человеком, о котором никак нельзя сказать, что он – хороший, ибо он блистательный, как нельзя сказать в общепринятом значении этого слова – порядочный, ибо он своеобразный и слишком сложный, и нельзя сказать, что способный, ибо он более чем талантливый. И он всечеловечен. И вечен.

Москва–Голицыно, 1957–1961

Основная часть текстов СП и данного издания воспроизведена по авторским рукописным *Тетрадам* из семейного архива А.Д. Благинина.

Тетрадь 1 содержит 115 произведений 1923–1930 годов. Семнадцать стихотворений из этой тетради («С опушки сада...», «В гробу величав...», «Очистительная агитка», «Вечер, посвящённый Баху», «Пока бьёт холодная вода глаз...», «На берег из папье-маше...», второй из «Двух дуэтов», «Белобрысым локоном...», «Когда, чортъ его знает откуда...», «Сергей Прокофьев», «Ты льёшься, прелесть моя, свинцовое небо...», «Эй, вы, кропатели стихов...», «Дуэт», «Миловид (Белью)», «Музыкальное обозрение», «Урок контрапункта», «Живая картина»), были ранее опубликованы в мюнхенском издании 1979 года, составленном Г. Айги (далее – *УН-1979*). Стихотворение «Скачет босой жеребец...» впервые опубликовано в журнале «Новый мир», 1929, № 5. Стихотворения «Проживал в Москве...» и «Кантата (Летняя)» опубликованы в СП, с. 270–272. Остальные произведения из *Тетради 1* публикуются впервые.

Тетрадь 2, почти полностью опубликованная в СП, содержит произведения 1930–1938 годов.

Тетрадь 3 содержит рукописный сборник «Устойчивое неравновесие / Внутри, вокруг и около», который состоит из стихотворений и циклов 1932–1950 годов, а также цикла «Живописное обозрение» (1927). Первоначальная, позднее исправленная датировка на воспроизведённом в СП титульном листе сборника: [1933–1948], т.е. в первом варианте (вероятно, законченном в 1948 году) ещё не было циклов «Живописное обозрение» и «Устойчивое неравновесие», написанных, соответственно, в 1927 и 1932 годах. Добавив эти циклы, характерные для соответствующих периодов, автор придал сборнику характер избранного.

Очевидно, тогда же в *Тетрадь 3* были добавлены и более поздние стихотворения, а на титульном листе появилась окончательная датировка: 1927–1950. *Тетрадь 3* целиком опубликована в *СП*.

Тетрадь 4 содержит автограф поэмы «Я видел», впервые опубликованной полностью в *СП*. Первые две главы поэмы (а также большинство произведений из *Тетрадей 2* и *3*) опубликовано А.Д. Благининым по машинописным сборникам, подготовленным к печати Е.А. Благиной, в издании 1991 года (далее – *УН-1991*).

В первом разделе настоящего издания публикуются 114 из 115 произведений *Тетради 1*. Цикл («Живописное обозрение» практически без изменений переписан автором в *Тетради 3* и опубликован в *СП*, с. 156–162).

Во втором разделе по рукописным автографам публикуются поэтические произведения, которые не вошли в основной корпус рукописных текстов, т.е. в *Тетради 1–3*. Исключением является «Оратория на кажущееся отсутствие писем от далёкой возлюбленной» из *Тетради 2*.

При публикации сохранена своеобразная авторская пунктуация (в некоторых случаях весьма необычная, например:

... дребедени перемалывать (?): –
опрометью бы в штурм ...

что, вероятно, было попыткой обозначить вариантность интонации или неоднозначность эмоции), а также некоторые особенности орфографии. В частности, Оболдуев последовательно использовал букву «ё» и расставлял ударения во всех мало-мальски сомнительных случаях. Авторские примечания воспроизводятся подстрочно.

- 43 *Morituri te salutant* (лат.) – Идущие на смерть приветствуют тебя.
- 50 М.А.М. – Адресат стихотворения неизвестен. Ниже посвящения приписано: *Умерла в ноябре 1926 г.*
- 53 Зачёркнуто посвящение: *Т.Мачтету* – Мачтет Тарас Григорьевич (1891–1938, по др. сведениям – 1942, 1944) – поэт, сын писателя-народника Григория Александровича Мачтета (1852–1901), автора песни «Замучен тяжёлой неволей».
- 54 *Епанча / самогитских болот ...* – Епанча – широкий плащ без рукавов. Самогития (Жемайтия, Жмудь, Жмурдия) – западная часть Литвы, междуречье низовий Немана и Виндавы.
- 58 *Органный пункт* – термин полифонической музыки: выдерживаемый или повторяемый звук в басу, на фоне которого верхние голоса движутся свободно, часто уходя в далёкие тональности. Название связано с широким использованием этого приёма в органной музыке.
- 60 Зачёркнута приписка под стихотворением:
15.III. 26 / «вся» – оставить.
Павана (от ит. *ravone* – павлин) – старинный итальянский танец. Дамы исполняли его в длинных платьях со шлейфом.
- 61 *Мездра* – остатки подкожных тканей на изнанке невыделанной кожи или шкуры.
- 62 *21.XI.53* – Вторая, более поздняя дата, приписанная карандашом, свидетельствует о том, что Г. Оболдуев в последние месяцы жизни просматривал и правил свои ранние стихи. Очевидно, тогда же были зачёркнуты заключительные строки:

*Весна. Зверь!
Взвей
глянцем
птиц*

без конца!
Ламце!
Дрицы!
– Ца, ца.

- 71 *И.А.Аксёнову* – Аксёнов Иван Александрович (1884–1935) – поэт, критик, переводчик, член литературной группы конструктивистов. Друг Г.Оболдуева*.
- Строки 23–26 цитируются в недатированной внутренней рецензии П. Незнамова (отрицательной) на неопубликованный сборник стихотворений Г. Оболдуева «Путеводитель по окрестности» (РГАЛИ. Ф. 625 (архив издательства «Федерация»). Оп. 1. Ед. хр. 121). Издательство существовало в 1929–1933 годах. Самого сборника в архиве нет.
- 75 *Н.Оболдуевой* – Оболдуева (в девичестве Толстикова) Нина Фалалеевна (1898–1994) – первая жена Г.Оболдуева.
- 76 *Легато* (ит. *legato* – связно, плавно) – музыкальное исполнение, при котором один звук плавно переходит в другой.
- 76 *Уларбуронг* – крупная неядовитая змея; водится в Юго-Восточной Азии.
- 78 *Панёва* – «бабья шерстяная юбка, девки не носят ея» (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.–М., 1882. Т.3. С. 15).
- 80 *Крейслериана* – цикл из восьми фортепьянных фантазий Р. Шумана, названный по имени героя произведения Э.Т.А. Гофмана – капельмейстера Крейсlera.
- 88 *Муссурана* – змея, обитающая в Бразилии; питается другими змеями.
- 91 Зачёркнуто название *Валентин Парнах* – Парнах

* «В числе моих знакомых имеется Георгий Николаевич Оболдуев, с семьёй которого я познакомился в 1897 году». (Цит. по: *Адашкина Н.Л.* Из наследия И.А.Аксёнова // Тыняновский сборник. Вып. 12. М., 2006. С. 288).

(псевдоним; настоящая фамилия Парнох) Валентин Яковлевич (1891–1951) – поэт, переводчик, хореограф, шахматист. В 1922–1927 годах руководил первым в СССР джаз-бандом и выступал в качестве танцовщика.

92 *Трансцендентальный нумен* (греч. *noúmenos* – мыслимый) – В идеалистической философии (в частности, у Канта) – «вещь в себе», сущность вещи, не познаваемая из опыта, а являющаяся объектом чистой мысли; противоп. *феномен*.

93 *A posteriori* (лат.) – На основании опыта.

96 *Озирался мор* – Подразумевается *мор<дой>*; ср. с четвертой строкой стихотворения.

97 *Л.Леонову* – Леонов Леонид Максимович (1899–1994) – известный советский писатель.

99 *Смешная... как артишок* – Ср.: «Ты похожа на артишок», – говорит клоун в фильме Ф. Феллини «Дорога», обращаясь к героине Джульетты Мазины Джельсомине.

Крэмонской скрипки – В Кремоне работали знаменитые мастера Амати, Гварнери и Страдивари.

100 *Э.Гофман* – Гофман (в замужестве Померанцева) Эрна Васильевна (1899–1980) – известный филолог, специалист по русскому фольклору, знакомая Г.Оболдуева. Вариант предпоследней строки: *как на холод парное молоко*.

Стихотворение входит в рукописную подборку в школьной тетради в линейку, сохранившейся в семейном архиве А.П.Квятковского, с надписью: «Четырнадцать цитат из двух моих книг: «Путеводитель по окрестности» (1923–1924 гг.) и «Синтетические примеры» (1925–1935 гг.), переписанных мной для Александра Павловича Квятковского, моего друга, которого я считаю одним из лучших современных мне людей. Г.Оболдуев. 29.IV. 37. Медгора».

Состав подборки: 1. «Не контрапунктическим вальсом Дуная...» 2. «Над Окой» 3. «По взморью рыжего заката...» 4. «Белобрысым локоном...» 5. «Неспеша на-

бухают крепкие...» 6. «Пресека» 7. «В нос пароходу
хлещет иодом...» 8. «Тема из предыдущей кантаты» 9.
«Знакомство» 10. «Внутренность» [«Внутренности
II», СП. С. 219] 11. «Как смертельная свирель...»
(№ 14 из цикла «Устойчивое неравновесье») 12. «Я
осторожно вёл стихи...» (№ 1 из цикла «Для детей»)
13. «Шелестит колючий лес...» (№ 4 из цикла «Для
детей») 14. «Я подошел к её глазам...» (№ 3 из цикла
«Три стишка не для детей»).

Тексты практически полностью совпадают с текста-
ми из *Тетрадей 1–3*.

Эта тетрадь и некоторые другие материалы любезно
предоставлены Я.А. Квятковским.

103 11.I.1933 – Зачёркнута более ранняя дата 3.III.25.

В *Тетради 1*, начиная с этого стихотворения, обо-
значенного как № 62 (1), и до стихотворения «Ду-
эт» № 90 (29), идёт двойная нумерация текстов.
«Живописное обозрение» имеет № 86 (25). Выде-
ленными таким образом оказались все произведе-
ния 1925–1927 годов.

105 Зачёркнут подзаголовок *Концерт g-dur op. 26*.

Разменивает рути на эю – Сергей Сергеевич Про-
кофьев жил в это время в Париже.

114 *Сабайон* (франц. *sabayon*) – соус яично-масляный
с вином и сахаром.

117 *Гросс* – Гросс Георг (1893–1959) – немецкий ху-
дожник-экспрессионист.

Руссо – Руссо Анри – См. ниже примечание к с.
151.

127 *Э.Г.Ш.* – Скорее всего, стихотворение посвящено Ле-
норе Густавовне Шпет (1904 (1905) –1976), дочери
известного философа Густава Густавовича Шпета
(1879 – 1937). Театральный деятель, критик, педагог.
Более 25 лет, с 1938 по 1964, заведовала литературной
частью Центрального театра кукол в Москве.

Посвящение приписано карандашом; в рукописи за-
чёркнуто первоначальное посвящение *Л.Г.Ш.* В ма-
шинописном сборнике Г. Оболдуева, находящемся

- в архиве А.Е.Кручёных (РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 1. Ед. хр. 1169) – третий вариант посвящения: *Н.Г.Ш.*
- 128 *Прелестная ровесница* – Возможно, речь идёт о М.А.М., которой посвящено стихотворение «Теперь на лёгком Кавказе...»
Твс – туберкулез.
- 132 Через два года после написания стихотворение было опубликовано в журнале «Новый мир», 1929, № 5.
Гутирую (от франц. *gouter*) – отведать, попробовать, смаковать.
- 133 *Н.Э.Р.* – Приписан вариант (расшифровка) посвящения: *Норе Эдуардовне Радунской*. Об адресате известно только, что в начале 1920-х она училась балету, сама преподавала желающим модные танцы, танцевала в Большом театре, была репрессирована, отбывала заключение в Ухтижемлаге (Ухта) вместе с сестрой Верой, в 1953 году вернулась в Москву.
- 134 *Джурун* – В 1919 году у станции Джурун под Актюбинском шли бои между отрядами Красной армии и частями адмирала Колчака. Вероятно, в этих событиях участвовал и Г. Оболдуев, мобилизованный в Красную армию годом ранее. Ср. также стихотворения «Об Оренбурге 1919 года», «Два дуэта».
- 136 Под стихотворением приписано: *В 28-м году написана еще 2-я часть «Огарева» – 432 строки*. Произведение с таким названием неизвестно.
- 137 В *Тетради 1* рядом с заголовком сделана приписка карандашом: *Пол. развл.* Такие же приписки сделаны автором ещё к нескольким текстам. В одном из случаев автор сам расшифровывает это сокращение как *Половые развлечения*. Вероятно, поэт намеревался объединить отмеченные стихотворения в цикл, который мог бы выглядеть следующим образом: «Прогулка» (с. 144, Вступление к отделу «Половые развлечения»), «Разлука» (с. 135), «Свиданье» (с. 142), «Встреча» (с. 162), «Залог здоровья» (с. 165), «Обычное право» (СП, с. 218), «Уравнение с двумя известными» (СП, с. 215, Заключение).

- 139 25.I. 1929 – Слева от даты приписано: 28–29. Имеются в виду 1928–1929 годы (в *Тетради 1* годы везде обозначены двумя последними цифрами).
- 143 Зачёркнуто посвящение *И. Пулькину* (см. ниже примечание к с. 161) и использованный в качестве эпиграфа фрагмент частушки:

*Как на ёлке на макушке
Соловей задул лягушке.*

- 144 *Флажолет* (от ст. франц. *flageolet* – флейта) – приём при игре на струнных музыкальных инструментах, позволяющий извлекать звук- обертон, по тембру напоминающий тембр флейты, гармоника основного тона струны.
- Зачёркнуто после первой строфы:

*В наххаузах.
В бигудях. В гастуках.
По воздуху махаются.
Ну, уж это нахальство!*

Зачёркнуто перед последней строфой:

*Ребята. Лебеда.
Ни пиля. Загважживай.
Шлепунда.
Заживет. Заживо.*

Против слова *Шлепунда* вписано в квадратных скобках: *размазня*.

- В наххаузах* – Наххауз (от нем. *nach Haus*) – домой.
- 146 Рядом с заголовком приписано: *Вступление* (к отделу «Половые развлечения»).
- 153 *Генрих Руссо* (*Henri Julien Felix Rousseau*; 1844–1910) – Правильнее *Анри Руссо* (как в поэме «Я видел» 1, 28) – французский художник-примитивист. Был известен под прозвищем «Таможенник Руссо».

- 154 *Ферматом* – от фермата (ит. *fermata* – остановка) – музыкальный знак продления звучания ноты или паузы.
- 157 *Григорий Пирогов* – Пирогов Григорий Степанович (1885–1931) – известный певец (бас), солист Большого театра.
- 161 *Ивану Пулькину* – Пулькин Иван Иванович (1903–1941) – поэт, друг Г.Оболдуева. Погиб на фронте.
Зачёркнут эпитафия:

*«У кого что стоит,
Тот о том и говорит».*
(Обермоты)

В архиве Е.Ф.Никитиной (РГАЛИ. Ф.341. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л.10) хранится стихотворение, датированное 26/III 1930 и подписанное «Г.Оболдуев / Иван Пулькин»:

*Жили были дед и баба,
Была у них курочка ряба;
Снесла курочка яичко золотое,
Золотое яичко, не простое.*

*Только было новую жизнь начали,
Тут-то их и раскулачили!*

- 162 *Молодик* – молодой месяц.
- 167 Зачёркнут подзаголовок: (*Презерватив*).
- 168 *М.И. Бабановой* – Бабанова Мария Ивановна (1900–1983) – знаменитая актриса. В 1927 году, вытесненная с главных ролей Зинаидой Николаевной Райх (1894–1939), ставшей женой режиссёра, ушла из театра Мейерхольда в Театр Революции.
Бегство в ля-минор – fuga (лат. *fuga* – букв. бег, бегство).
Акс – См. примечание к стр. 71.

- 169 Зачёркнут подзаголовок: *Иллюстрация к Людскому обозрению*.
Штэрншнэйдэнзи = *Stern schneiden Sie* (нем.) – Приблизительно можно перевести глаголом из первой строки второй строфы: *звездарезните*.
Ро та-леgn-кой = по ма-лень-кой.
Таким образом, *штэрншнэйдэнзи ро та-леgn-кой!* = звездарезни по маленькой! (Ср. *небеса звездарезнули / По маленькой земле* в конце первой и начале второй строки той же строфы). Правильное прочтение этого места предложено Т.Ф. Нешумовой. Эта строфа стихотворения, вероятно, является откликом на смерть В. Маяковского с аллюзией на его стихи на смерть С. Есенина («в звезды врезываясь»).
- 170 *Куусинен* – Куусинен Отто Вильгельмович (1881–1964) – известный большевик финского происхождения. В 1921–1939 член Президиума и секретарь Исполкома Коминтерна.

II

- 173 «*Своим возлюбленным пренебрегла...*» – Публикуется впервые по автографу, хранящемуся в архиве А.Д. Благинина.
- 176 «*Трёх недель не прожила...*» – Публикуется впервые по автографу, хранящемуся в архиве В.К. Звягинцевой (РГАЛИ. Ф.1720. Оп. 1. Ед. хр. 366). Стихотворение написано карандашом на обороте крышки папирсной коробки.
- 177 «*Повенецкий совхоз*» – Публикуется по автографу из семейного архива А.П. Квятковского. Подпись под стихотворением: *Ю. Бегаев*. Опубликовано в 1934 году в газете «Перековка» № 49–50, выходящей в Медвежьей горе, и в сборнике «Навстречу жизни», отпечатанном в типографии Белбалткомбината в том же году. Другой образец стихов этого рода см. в статье Н.Н. Яновского (с. 211–212 нашего издания).

- 179 «Послание А.П.Квятковскому» – Публикуется впервые по автографу из семейного архива А.П.Квятковского. Нумерация частей начинается с № 2 – так в оригинале.
- 187 «Оратория на кажущееся отсутствие писем от далёкой возлюбленной» – Публикуется впервые по автографу, приписанному на свободном листе в конце *Тетради 2*. Цитируется в мемуарах Е.А.Благиной (с. 249 нашего издания).
- 188 Зачёркнут вариант начала последней строфы *Вы, Еленка, свинопферд. Пфферд* (от нем. *Pferd*) – лошадь.
- 189 «Человек *авес*» – Поэма публикуется впервые по автографу из семейного архива А.Д.Благина. Посвящена Розенштраух (Кольцовой) Элли Эрнестовне (1912–?), певице Медвежьегогорского театра. *Авес* – фр. предлог, обозначающий «с», «при»; заголовок можно перевести «С человеком» или «Человек с» (ср. эпитафия, который можно перевести как «Человек с собачкой»).

Приложения

- 195 Статья Г.Оболдуева об А.С.Пушкине впервые была опубликована под псевдонимом *Ю. Созм* в журнале «Под знаменем Белморстроя» 1937, № 2, с. 21–25. По тому же изданию воспроизводятся рисунки художника Ю.Купреянова. Статья, написанная к столетию со дня гибели А.С.Пушкина, представляет особый интерес как выражение взглядов автора на поэтическое искусство.
- 211 Статья Н. Яновского публикуется с небольшими сокращениями по журналу «Литературное обозрение» 1987, № 6. Исключены из публикации некоторые приведённые в статье стихотворения Г. Оболдуева. *Н. Яновский* – Николай Николаевич Яновский (1914–1990) – известный сибирский критик и литературовед. В 1930-х годах отбывал ссылку на Медвежьей горе.

- 213 ...Сергея Павловича Боброва ... – Сергей Павлович Бобров (1889–1971) – поэт, прозаик, друг Г. Оболдуева. Один из организаторов футуристической группы «Центрифуга».
- 218 «Современные мысли» – У Н.Н.Яновского очевидная ошибка – цикл называется «Своевременные мысли». Стихотворение «Одушевлять на кой нам...» опубликовано в СП, с. 24–25. Последняя строка стихотворения, приведённого в статье, соответствует редакции *Тетради 2*.
- 221 «Ржал в траве кузнечик...» – СП, с. 26–27. В *Тетради 2* датировано V.1933.
философа Гавронского – Александр Осипович Гавронский (1888–1958) – кинорежиссер, несколько раз подвергался аресту, первый раз – в 1934 году.
- 224 «Я осторожно вёл стихи...» – СП, с. 23–24.
- 227 «Зелёные временные составы веток...» – СП, с. 35–36.
«... ловкие, точно ленивые, мысли ...» – В СП «... ловкие, точно хитрые, мысли ...»
- 228 Исключены цитаты из цикла «Мысли до ветру»: «Не целуй моих глаз, Эвридика...» (Цит. 2) и фрагменты Цит. 3 и Цит. 4 (см. СП, с. 240–242).
«Не верь, приятель, сероглазым...» – СП, с. 35–36.
Далее в статье воспроизводится целиком, но без названия, стихотворение «Солдат» (СП, с. 56).
«Нелюдимо» – СП, с. 117.
- 230 «Похоронка» – СП, с. 136–137.
- 231 Воспоминания Е.А. Благининой впервые опубликованы в журнале «Новая Россия. Воскресенье» (Е.А. Благинина. Воспоминания о жизни с Георгием Оболдуевым // «Новая Россия. Воскресенье», № 1, 1997, с.96–105, 165–175). В данном издании публикуются по авторизованной машинописи, хранящейся у А.Д. Благинина. На первой странице имеется надпись: *Последний вариант – правленный / Е.Б.*
Содержание текста выходит за рамки темы, заявленной в названии. При публикации сокращены фраг-

менты текста, не имеющие непосредственного отношения к Г. Оболдуеву.

у Марии Ивановны Поступальской – Мария Ивановна Посиупальская (1901–1972) – детская писательница, окончила ВЛХИ им. В.Я. Брюсова.

с мужем – Степаном Злобиным – Степан Павлович Злобин (1903 – 1965) – писатель, окончил ВЛХИ им. В.Я. Брюсова.

233 *См. мои воспоминания* – опубликованы посмертно в книге *Благинина Е.А.* Бульвар Новинский, № 6. – Орел, 2003.

Пискаторы – друзья Е.А. Благиной, участники регулярных дружеских встреч («так как покричать в коммуналке не очень-то можно, получился писк»). С 1931 года собирались в квартире Блэкловых на Новинском бульваре. Участником этих встреч после войны был и Г. Оболдуев. В книге «Бульвар Новинский, № 6» приводятся сочинённые им или при его участии тексты шуточных песен.

234 *Да позвоните же мне коль не в службу (и назвал № телефона), так в дружбу!* – Ср. «Людское обозренье» § 34 (СП, с. 213).

к Кириллу Константиновичу Андрееву – Кирилл Константинович Андреев (1899–1967) – поэт, писатель, критик. Долгое время работал редактором в издательстве «Детская литература». Участвовал в «Союзе приблизительно равных» (1929).

235 *Вот так октябрюта-брюта...* – СП, с. 269. В СП стихотворение датировано 1934 годом, но в этом месте воспоминаний Благиной описываются события 1933 года, что указывает на более раннюю дату написания стихотворения.

240 *Незабвенная Кумса...* – Имеется в виду стихотворение «Отставший» (СП, с. 190–1), датированное 1949 годом.

243 *«Флагов золотые рыбки...»* – Из стихотворения «Шомполом твоей улыбки...» (СП, с. 39–40), датированного 1938 годом.

В чёрной тетрадке... – т.е. в *Тетради 3*.

Цикл *«Лепетанье Леты»* (СП, с.44–53) датирован II–VIII. 1938 года.

... к поэме, начатой в 1940 году... – Поэма «Я видел» датирована автором 1941–1952 годами (см. факсимиле титула из *Тетради 4* в СП).

249 *«Пара в парке всё бредет...»* – См. с. 185–186 настоящего издания.

251 *Стихотворение о купаньи* – См. с. 187–190 настоящего издания.

Стихи о сером взоре – СП, с. 61–62.

255 *«Ты тихий сумрак мой...»* – Из стихотворения П.А. Вяземского *«Ты светлая звезда таинственного мира...»* (1837).

256 *«Война! Чей близкий контур...»* – СП, с. 321.

261 *«Нелюдимо»* – СП, с. 117.

264 *«Осень себя крестами...»* – «Ай люли» (СП, с. 90–93), в третьей строке у Г.Оболдуева: «колхознички-крестьяне».

Получил письмо от Квята – имеется в виду Александр Павлович Квятковский.

269 *Сергей Петрович Бородин* – Сергей Петрович Бородин (1902–1974) – советский прозаик, автор исторических романов. До 1941 года публиковался под псевдонимом Амир Саргиджан. В 1926 году окончил ВЛХИ имени В.Я. Брюсова.

271 *За сорок седьмой, сорок восьмой, сорок девятый и пятидесятый годы он написал циклы* – «*Вира-майна*», «*Свидетель*», «*Пост-скрипtum*», *включающие шестьдесят стихотворений* – вместе с написанным в то же время циклом «*Жезл*» действительно получается ровно 60 стихотворений, в т.ч. одно 1938, одно 1944 и одно 1946 года. В разделе «*Лепетанье Леты*» ещё четыре стихотворения 1947–1948 годов, а стихотворение «*Любовь*» датировано 1938–1947 годами. Стихотворение «*Клистир*» из «*Своевременных мыслей*» также написано в 1947 году.

272 *«Скафандр»* – СП, с. 144.

- 274 «Семья» (1949) – пьеса драматурга Ивана Фёдоровича Попова (1886–1957) о семье Ульяновых.
- 276 *В начале января праздновали юбилей Квитко* – Имеется в виду 30-летие творческой деятельности (1949 год). Квитко Лев Моисеевич (1890–1952) – детский поэт. Расстрелян 12 августа 1952 года.
- 279 *Ничего из этих вещей не напечаталось* – Пять послевоенных стихотворений («Похоронка», «Солдат», «Окно», «Насечки» и «Осенний лес») предлагались в журнал «Знамя». Публикация не состоялась. В РГАЛИ, в архиве «Знамени» хранится вместе с машинописными текстами этих стихов внутренняя рецензия И.Л. Френкеля, датированная 1948 годом:
«Автор – опытный стихотворец. Однако – и это часто сожительствоует – при версификаторских данных тов. Оболдуев, в буквальном смысле слова, предается эстетско-формалистской обработке весьма несложных и довольно смутных мыслей. Особенно показательно в этом отношении стихотворение «Похоронка». <Далее приводятся первые восемь строк «Похоронки»>.
Я думаю – комментарии к этому могут потребоваться только в порядке расшифровки». (Ф. 618. Оп. 14. Ед. хр. 205).
- Году в пятьдесят первом... некто Горностаев* – Горностаев Георгий Васильевич (р. 1917 – ?) – советский поэт.
- 280 *Существованье животных трагично* – «Псалом» (СП, с. 118).
- 282 *О смерти Прокофьева* – 5 марта 1953. В тот же день было объявлено о смерти И.В. Сталина.
- 284 Георгий Николаевич Оболдуев умер 27 августа 1954 года.

И. Ахметьев

Содержание

I

Ночь	7
Ливень	8
О Туркестане	10
Я бродил по долинам Альп... ..	12
Об Оренбурге 1919 года	13
Ночь. Разглагольствовал месяц... ..	15
Когда буколически... ..	16
Думал ты... ..	17
Утро цепное... ..	18
Высоких птиц гвалт... ..	19
С опушки сада... ..	20
А уши лесом заложило... ..	21
Забывая свой голос... ..	23
Схлынет ночь... ..	24
Сочные звёзды... ..	25
Снегом засыпанные... ..	26
Под самым сердцем весна... ..	27
Запросто, коротко... ..	29
Зимний этот мир... ..	31
Изумительно хорошо... ..	33
Так прекрасна... ..	35
Над мертвечиной... ..	37
Глубокое лаканье... ..	39
Биологическая прогулка	41
В гробу величав... ..	42
Нечаянные тучи... ..	44
Споёмся, друг... ..	46
Керосиновые глаза... ..	48
Широким водоворотом... ..	49
Теперь на лёгком Кавказе... ..	50
Концерт	51
В ласковый лак... ..	53
Беспардонный владетель... ..	54

Она в углу локтей...	55
Очистительная агитка	56
Вечер, посвящённый Баху	58
С каждым куском...	60
Мартапрель	61
Привелось как-то...	63
Облаплен он елями...	64
Я вижу лёгкий скат...	66
Я был царевной на Припяти...	68
Пока бьёт холодная вода глаз...	69
Пенье слепых	70
И.А. Аксёнову	71
Отталкиваю стол...	73
По плаванию порнографического фокстрота...	74
Добрая половина герольдов...	75
Не контрапунктическим вальсом Дуная...	76
Над Окоём	77
На берег из папье-маше...	78
По взморью рыжего заката...	79
Крейслериана	80
О сколь громадная фигурка...	91
Жил-поживал: кажется, проглядел...	93
Жолудь	94
Ближайшая женщина	96
Л. Леонову	97
Два дуэта	98
Белобрысым локоном...	100
Когда, чортъ его знает откуда...	101
По голубому океану...	102
Её плечей и рук хрупких...	104
Сергей Прокофьев	105
Тут белкам не до сна...	106
Луга волнует белый гусь...	107
Утреннее размышленье	108
Разговор на три голоса	109
Заклинание	112
Неспеша набухают крепкие...	113

Косые косы причесав...	114
Элегия	115
Серенада 1	116
Справка	117
Кантата (Летняя)	118
Серенада 2	120
Воспламеняя нашу кровь...	121
Посмотри, как плещет что за...	122
Ты может быть лелеешь...	123
Снег разорванной санями...	124
Ты льёшься, прелесть моя, свинцовое небо...	125
Нас любовь выводит в люди...	126
Недавно, вежливо, бегло...	127
Песня (Идёт четвёртый год)	128
Уже здоровый день...	129
Песня (Текут от небосклона)	130
Скачет босой жеребец...	132
Эй, вы, кропатели стихов...	133
Дуэт	134
Просека	135
В нос пароходу хлещет иодом...	136
Разлука	137
Проживал в Москве...	139
Кантата 2	140
Тема из предыдущей кантаты	142
Сельская идиллия	143
Свиданье	144
Естественная история	145
Прогулка	146
Воспоминанье	147
Вечернее купанье	148
Знакомство	149
Кантата 3	150
Миловид (Бельвию)	153
Музыкальное обозрение	155
Песня	159
Искусства и науки отверг...	160

Ивану Пулькину	161
Объяснение в любви	162
Встреча	164
Урок контрапункта	165
Залог здоровья	167
М.И. Бабановой	168
Живая картина	169

II

Своим возлюбленным пренебрегла... ..	173
Трёх недель не прожила... ..	176
Повенецкий совхоз	177
Послание А.П. Квятковскому	179
Оратория на кажущееся отсутствие писем от далёкой возлюбленной	187
Человек авес	189

Приложения

<i>Ю. Созм. (Г. Оболдуев)</i>	
А.С. Пушкин. Краткая памятка о творчестве. ...	195
<i>Н. Яновский</i>	
Забывтый поэт. Памяти Г.Н. Оболдуева	211
<i>Е. Благинина</i>	
Воспоминания о жизни с Г.Н. Оболдуевым	231
Комментарии	284

На переплете:

Г. Оболдуев. Фрагмент фотографии 1934 года.

Из архива А.Д.Благинина

Г. Оболдуев. Фрагмент фотографии 1920-х годов.

Из архива А.Д. Благинина

Оболдуев Георгий

- О 21** Стихотворения 20-х годов / Сост. А.Д. Благинина. Подгот. текста и комментарии И.А. Ахметьева. — М.: Виртуальная галерея, 2009. (рус.) — 304 с.: ил.

Этой книгой издательство «Виртуальная галерея» завершает публикацию основного корпуса поэтического наследия Георгия Оболдуева по авторским рукописным книгам.

В первом разделе представлены стихи 1920-х годов – важный этап эволюции поэзии Г.Оболдуева, необходимый для ее понимания. Стихотворения этого раздела публикуются, в основном, впервые.

Во втором разделе публикуются стихотворения разных лет, не вошедшие в основной рукописный корпус.

В приложения вошли: очерк Г. Оболдуева о Пушкине, воспоминания литературоведа Н.Н. Яновского, вместе с Г. Оболдуевым отбывавшего ссылку в Карелии, и мемуары жены поэта – Е.А. Благининой.

Георгий Оболдуев
Стихотворения 20-х годов

Редактор

И.А. Ахметьев

Художественный редактор

В.Е. Николаевский

Компьютерная верстка

А.М. Дмитриев, А.Ю. Ярышева, М.Н. Ярышев

Сканирование и обработка иллюстраций

М.Н. Ярышев

Подписано в печать 23.04.2009 года.

Формат 84x108/32. Бумага офсетная №1.

Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Заказ 898

Издательство «Виртуальная галерея»,
info@rcart.net; www.rcart.net; www.makc.net

ОАО «Типография «Новости».
105005 Москва, ул. Ф. Энгельса, 46.

поправки, уточнения и объяснения

47 7 ст. сверху:
к вѣтлам, вѣслам

подпись на 7 с. ил. м. с.128 и 129: вклеено

213

"Сергей Павлович написал это стихотворение через двадцать пять лет после встречи с другом, видимо, в дату чем-то ему памятную - 21 апреля 1964 года" — ошибка Яновского, правильно двадцать лет (1964-20=1944)

214

три поправки к ст-ю Боброва:
заголовок: "Георгий пришел на побывку"
в стр.6: Забитый
стр.9: Как бы сквозь мук и терний
правильный текст:

ГЕОРГИЙ ПРИШЕЛ НА ПОБЫВКУ

В моей каморке бедной
Вдруг появился ты —
Измученный и серый
В сиянье нищеты;
В шинелишке солдатской,
Забитый и худой,
И ангел смерти братской
Бок о бок шел с тобой.
Как бы сквозь мук и терний
Безумно-чистый взор —
На образах вечерних
Видал я до тех пор, —
Не строгий, не высокий,
Но изможден до дна,

Он из глубин далеких
Светил едва-едва.
1964

241 «своевольна как птаха» (там: плаха)

комм. на с.287-8 к с.91 д.б. такой:

Зачеркнуто название "Валентин Парнах". Парнах (Парнох) Валентин Яковлевич (1891—1951) — поэт, переводчик, хореограф. В 1922 основал первый в СССР джаз-банд, с которым выступал в качестве танцовщика (оркестр существовал до 1927, а Парнах уехал в Париж в 1925).

294 комм. к с.195 Статья Г. Оболдуева об А.С. Пушкине впервые была опубликована под псевдонимом Ю. Созм в журнале «Под знаменем Белморстроя» 1937, № 2, с. 21-25. По тому же изданию воспроизводятся рисунки художника Ю. Купреянова*...

* Юрий Николаевич Купреянов (1899—1942, расстрелян) — младший брат знаменитого художника-графика Н.Н. Купреянова (1894—1933). В 1930—1937 находился в заключении на ББК. (сведения взяты из книги Романа Тименчика "История культа Гумилева" (М.: Мосты культуры, 2018). С.618—620).



Мне выпала большая честь
и радость жить рядом с человеком,
о котором никак нельзя сказать,
что он – хороший, ибо он
блестательный, как нельзя сказать
в общепринятом значении этого
слова – порядочный, ибо он
своеобразный и слишком сложный,
и нельзя сказать, что способный,
ибо он более чем талантливый.

Елена БЛАГИНИНА

Оболдуев принципиально
эклектичен в теме, в ее развитии, –
ибо его «рационалистическая
целесообразность» – в сохранении
своей неконтролируемой
обособленности, трезвого взгляда
на мир, терпящий свои очертания
в ложном, внеисторическом
общественном идеализме,
в социальном инфантилизме, –
одинокий этот взгляд ощущает
и провалиет в окружающем мире
то немногое, чем еще может жить
человек, сохраняя в себе
инстинкт культуры.

Геннадий АЙГИ

Поэтесса Оболдуева отзывалась
на всё, ничему не покоряясь,
и стала, можно сказать, оркестром
постклассических русских поэтов ...

Ирина РОДНЯНСКАЯ

Не удалось Георгию Оболдуеву
стать советским поэтом – остался
он собой, одним из лучших
мастеров русской поэзии XX века.

Андрей УРИЦКИЙ

ISBN 978-5-98-181-052-7



9 785981 810527